

ДЕТИ ДЬЯВОЛА

Румер-Зараев М.

Диабет и другие повести. —

М., «Вест-Консалтинг», 2016. — 332 с.

ISBN 978-5-91865-361-6

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДАНЯ

Ночью заговорила тарелка-радио. Тогда у всех были эти слегка вогнутые тарелки из черного картона. Они начинали говорить в шесть ноль-ноль. Сначала раздавался гимн «Союз нерушимый республик свободных...» Потом голос диктора: «Говорит Москва. Московское время шесть часов...»

До конца дней в памяти Дани будут стоять эти звуки, этот голос с мрачноватыми мужественными раскатами.

Как у православного «Отче наш иже еси на небеси...», у буддиста «Ом мане падме хум», у еврея «Шма Исраэль...» — символом веры советской цивилизации: «Говорит Москва...»

День начинался. Еще лежалось в сонной отроческой истоме и сквозь дрему тоскливо пробивалась необходимость встать, а день начинался. И кончался он той же мелодией гимна и боем часов на Спасской башне только с обязательным включением Красной площади.

Словно ночной уличный ветер входил в душную комнату. Автомобильные гудки, шелест шин, шорох шагов. Вряд ли шорох и шелест могли быть слышны, но так казалось.

Казалось же, отцу на прогулках по крыше внутренней тюрьмы на Лубянке, что он слышит дальние звуки города. Впрочем, мог и слышать.

«Союз нерушимый». Нерушимый во веки веков. Страна. Держава. Ласковый отеческий взгляд и усы — на портрете.

Сколько ни знай, кто он, что он — а уж полвека минуло после смерти — все равно в подсознании, в неизгладимом детском ощущении — доброта, мудрость, снисходительность в этой полуулыбке джокондовской, в глазах — восточных с легким прищуром.

Летят самолеты, сидят в них пилоты
И сверху на землю глядят,
А наши ребята флажки и плакаты
Несут на октябрьский парад

Детсадовское, утробное, радостное. Напевалось всю жизнь, мурлыкалось сквозь зубы, билось в мозг. Уже стариком поется-напеваётся в час, когда ничего не болит, не мучает, не тревожит, из дальней дали выливается: «Летят самолеты...»

Беззвучно летят словно во сне — по голубому шелковому. И демонстрация в майских солнечных бликах — пестрой, гомонящей толпой, хором выкрикивающей лозунги и песни, выплескивающейся с мостовой на тротуар. Красное вокруг — транспаранты, флаги — над орущими, в крике распяленными лицами, над белыми рубашками, синими плащами, над запахами одеколона и водочной аурой. И неистребимый прорывающийся через все это сладостный весенний ветер, от которого сжимается что-то внутри и плывет, плывет в тревоге и муке предчувствие длинной счастливой жизни.

Напитавшись этими звуками, красками и уморившись от них, Даня заходил во двор — в широкий проем между двумя кирпичными четырехэтажками с непросохшей еще от снега землей, которая скоро зазеленеет и будет выталкивать чахлые травинки сквозь обрывки газет, пустые банки и прочий городской мусор (когда-нибудь Даня в своих сельских штудиях дойдет и до исследования состава деревенского мусора, выяснив его отличия от городского и определяя по генезису свалок социальные различия в российском обществе).

Летом по замусоренной уже сухой земле двора будет ползать пьяная проститутка Розка, елозя по земле коленками и руками, задрав юбку, так что сквозило, мучая несказанно, заголенное, белое, стыдное...

Много лет спустя уже сын Дани подростком будет идти с одноклассником по тем же московским улицам и одноклассник, восторженный армянский мальчик, скажет: «Видишь, вон девочка, на ней курточка, под курточкой юбочка, а под юбочкой...» И замычал ли, застонал, сотрясая сжатыми кулаками. Теперь он солидным степенным семьянином гуляет по воскресеньям с толстой женой и двумя детьми.

«Род проходит, и род приходит, и земля пребывает во веки». Влажная или сухая — городская замусоренная земля.

Ночью заговорила тарелка-радио.

Это могло означать войну.

Даня безумно боялся войны. В начале пятидесятых, когда воевали в Корее и временами казалось, что могла начаться мировая, он считал годы, оставшиеся до призыва в армию. Очень не хотелось погибать нецелованным. Он не мог знать, что его поколению повезет как никакому другому в российской истории и даже афганские, чеченские конфликты их не зацепят, дав состариться без главных мужских испытаний — войны да тюрьмы.

В 62-м Даня уже взрослым человеком вылезал из глубокого подвала, где помещался институтский архив. Архивариусом был пожилой грустный еврей по имени Натан. Даня иногда заходил к нему поболтать, обсудить политические новости. В тот день советские корабли шли к Кубе, и два властителя мира — старый и молодой — соревновались в силе характера. Ставкой в этой игре было существование мира и стало быть жизнь всех его обитателей, в том числе его, Дани, и печального одышливого Натана с выпуклыми рачьими глазами.

Они сидели в тесном отгороженном шкафами пространстве, у заваленного старыми бумагами стола, на шестиметровой глубине. Под потолком тускло светила лампочка, и это декоративно выгороженное пространство, эта пыльная холодная нора могла стать их могилой, если бы там наверху полыхнуло и расползся по горизонту столь хорошо представляемый ими атомный гриб. Но не полыхнуло. Старый властитель сдался, как в армрестлинге дал отжать свою руку, бессильно положить

ее на стол. И Даня вылезал на божий свет, к сияющему солнцу, к облакам, к городским шумам. Пронесло.

Впрочем, и в ту мартовскую ночь было ясно, что не война.

Уже несколько дней в газетах публиковались медицинские бюллетени, подписанные титулованными кремлевскими врачами, писалось о кровяном давлении, о дыхании по Чейну-Стоксу. И эти доселе никому неизвестные термины тревожили ожиданием того, чего не должно быть, не бывает, ибо смерть могла придти к кому угодно, но не к нему же, его нельзя было представить себе мертвым, он был всегда. Но вот подкатывало предчувствие, надежда, которую никому нельзя было высказать, подкатывало и подошло наконец мрачным дикторским голосом, неурочно раздавшимся в ночи.

Мать заохала, застонала, заплакала и бросилась к радио, усилить звук, так что Даню, спавшего на диване, опухло запахом немывтого тела и сквозь полусмеженные веки увиделось, как метнулось белое полотнище ночной рубашки.

Но мать плакала не от горя, все последующие дни искажавшего лица окружающих их людей. Она плакала от страха, от предчувствия того, что будет хуже. Что могло быть хуже — отец загибался в сибирской ссылке, она сама из последних сил тянула сына на свою зарплату детсадовского воспитателя, да еще вторую комнату сдавала, да белье на жильцов стирала... Но могли ведь сослать и ее с Даней, а отца — обратно в лагерь, в лагерную пыль, из которой он недавно вышел. Могли... Они так много могли, и так длинна лестница страданий, ведущая к исчезновению семьи, к ее растворению в той же пыли, пусть не лагерной, пусть в московской или сибирской, в земле, из которой все вышли и в которую когда-нибудь уйдем без сострадания, без божественного присутствия, из бездны в бездну.

Все это фоном, предчувствием пронеслось в ней под мерные звуки дикторского голоса и еще бились в сознании две роковые буквы, стоявшие на ордере об аресте отца — Л.Б. — Лаврентий Берия. Это ведь ему скорее всего доведется сменить Отца родного, Хозяина (непроизносимо его имя, тот инфантильный псевдоним, избранный некогда с мыслью о твердости металла и ставший знаком, символом, словно бы утратившим

свое первоначальное семантическое значение и приобретшим вселенский смысл). И хотя она понимала, что Берия ставил свою подпись на десятках тысяч ордеров, чувствовала, что пересмотру такие дела не подлежат.

Все эти пятнадцать лет, когда отец умолял ее из лагерных бездн обращаться в ЦК («напиши тов. Жданову, напиши тов. Сталину — я невиновен, невиновен...»), писала, конечно же, нельзя же было оставлять его без последней надежды, но в успех таких обращений не верила ни на йоту.

Ей вообще свойственно было трезвое понимание происходящего, которого отец был лишен несмотря, а может быть в силу близости к власти. Когда ему в 37-м предоставили трехкомнатную отдельную квартиру (неслыханная по тем временам роскошь!) в ведомственном доме, она отказалась уезжать из двух комнат в коммуналке, некогда полученных ею и потому записанных на ее имя. Отец был поражен и даже уязвлен таким отказом, но она спокойно и твердо сказала ему: «Тебя посадят и меня с Данькой выкинут из этой квартиры. А так я — в своей». — «Меня посадят? — с ужасом воскликнул он. — За что?» — «А Мирона за что посадили?» — «Мирона, Мирона... Мирон был близок с Рудзутаком». — «А ты был близок с Мироном».

И не поехала. И оказалась права, ибо через год отца посадили, и она осталась в своей квартире, не надеясь ни на что все эти годы, посылая заявления о невиновности отца для его лишь утехи. Но зато, когда несколько месяцев спустя после той ночи когда заговорило радио, и вскорости был низвергнут Берия — боже мой — какую же активность она развила!

У нее всегда был унаследованный впоследствии Даней дар писать «слезницы». Только этим словом он обозначал десятилетия спустя всевозможные проекты, предназначенные вниманию новоявленных российских олигархов на предмет денежного субсидирования. Материнские же слезницы были полны пафоса и зывали к сочувствию страданиям невинного человека и его семьи в условиях самого справедливого социалистического государства. Причем переход от патетики к строгости аргументов, доказывавшим невиновность, каждый раз был уместен и точен.

Трудно сейчас вообразить меру сделанного ею. Простая детсадовская воспитательница добилась приема у секретаря ЦК! Правда, Секретарь когда-то был сослуживцем отца, и даже на даче вместе жили, семьями знались. Правдой было и то, что годом раньше этот Секретарь и на пушечный выстрел не подпустил бы жену репрессированного сослуживца. Теперь же он одним из первых почувствовал уже ощутимое в воздухе веяние, самое раннее, чуть-чуть пробивающееся сквозь завесу слов, клятв, заверений, когда уже можно было сделать легонький, в сущности, ни к чему не обязывающий ход в политической игре — принять жену знакомого сидельца, прочитав ее заявление, направить это заявление в прокуратуру с осторожной резолюцией-просьбой, сказав кое где, что вот, мол, и человека знал честного, а как судьба сложилась... не пора ли нам, конечно, осторожно, конечно, с тщательной проверкой...

Он потом долго не продержался этот секретарь на самом верхнем уровне, стал министром, потом еще ниже — послом, и так все падал, растворяясь в неизвестности...

Но как мать проникла к нему, как она сидела в этом огромном кабинете на Старой площади на краешке кресла перед столом, затянутым зеленым сукном? Как все это было в просторах того кабинета, где свет осторожно вливается сквозь огромные, затянутые скучными казенными белыми шторами окна, и напуган он суровой бечеловечностью Необходимости.

Когда-нибудь Даня, зайдя с бутылкой к приятелю — директору московского издательства — после первой рюмки спросит, почему так громоздка и старомодна мебель в его кабинете? «А ты не знаешь, что это за мебель? — оживленно спросит тот. — После смерти Сулова в Хозу ЦК не знали, что делать с его мебелью, он ведь запрещал ее менять. Так и стояла с тридцатых годов. Я говорю: «Давайте мне, историческая ведь мебель. Вот и сижу за его столом».

Он погладил туго натянутое зеленое сукно, слышавшее столько властных шопотов и криков, шелест столько бумаг, сукно, на котором распростерта, распята была духовная жизнь страны.

И мать тогда, в 53-м сидела перед зеленым сукном в кабинете у Секретаря.

О чем они говорили, оба напряженные, оба в новой для себя небывалой ситуации? Она перед ликом человека, носившего лишь оболочку того, которого некогда звала по имени, с чьей женой дружила. И теперь эта оболочка была как воздушный шар газом наполнена чистой эманацией власти, уносящей в сферы небожительские, о которых можно только догадываться, но не знать. И он — перед женой человека из страшного небытия, о котором даже думать не хотелось и куда он еще совсем недавно мог попасть в любой миг при любом неосторожном шаге.

Отец вернулся в мае 54-го. Еще впереди были карагандинские лагерные бунты, и доклад Хрущева, и реабилитационные комиссии, преисполненные сдержанного гуманизма, а он осторожно спускался по вагонным ступенькам на Казанском вокзале, озирая сквозь слезы встречавшую его толпу — яркие пятна цветов, улыбающиеся лица тех, многие из которых имя его боялись произносить, а завидев жену на улице смотрели поверх ее головы туманным отстраненным взором... Но теперь — все позади: и его небытие, и их страхи. Все позади. Мягко майский ветер, ярко светит солнце, улыбки лица, искренни слезы. Впереди жизнь.

Год спустя отец провожал Даню на студенческую практику.

Он пообыкся в новой своей жизни, перестал пугаться движения машин на уличных переходах, не размякал на дружеских застольях, которые поперву были, что ни день. Прошлое проступало разве что в бытовых мелочах, в словечках. Не «чашка», а «кружка». Не «постель», а «койка». Не «налей чаю», а «плесни кипяточку». Если, придя с работы, он не заставал мать дома, брал еду сам. Резал на газете колбасу, селедку, ломал хлеб и закусывал под непременною четвертинку.

Потом ложился спать на часок, а пробудившись сидел у стола в пижаме, долго пил чай, отдуваясь, пофыркивая, потряхивая седой кудлатой головой. Смотрел телевизор, время от времени всхрапывая, и в конце концов в дремотной одуре шел в постель.

И Даня в его возрасте будет ловить себя на тех же повадках, на таком же неторопливом закусывании под рюмку, ощущении вечерней истомы после тяжелого дня, бессмысленном сидении у телевизора, всей этой животной сладости бытия.

А тогда, весной 55-го они шли вдвоем по широкой пустынной в будничные дневные часы улице московского предместья, по которой со звоном, с пыльным ветерком летел трамвай.

Образ трамвая у Гумилева.

«Как я вскочил на его подножку было загадкой для меня.

В воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете дня».

«Вороний край», «звоны лютни» — музыка гумилевского стиха, на волнах которого он качался всю юность. И возил с собой в первые молодые командировки в рюкзаке, перефразируя багрицкое: «А в походной сумке спички да табак, Тихонов, Сельвинский. Пастернак», свой поэтический набор: Блок, Багрицкий, Пастернак.

Итак, они шли по улице под звон трамвая. Даня молодцевато вышагивал с рюкзаком за плечами, в ковбойке и шароварах, похожий на молодого геолога — образ, романтизированный в те годы кино и литературой, как впоследствии образ физика.

Разговаривали они мало и на улице, и в трамвае, и потом на перроне вокзала. Правда, на вокзале был уже Николай, вдвоем с которым Даня отправлялся на практику.

— Вас хоть встретят там? — спросил отец.

— А чего нас встречать? — бодро ответил Даня. — Велено явиться в райзо, оттуда направят в какой-нибудь колхоз.

— Свиноводство там было когда-то развито.

— Да ты разве бывал в этой области?

— Бывал.

Сказал и замолк, лицо подтянулось, губы поджалось. Даня знал эту его манеру обрывать разговор, словно подошел он к запретной черте, через которую лучше не переступать. И Николай со свойственной ему тонкостью соображения и тактом, лишь скользнул взглядом по отцовскому лицу и ничего не спросил.

Лето его юношеского одиночества. Потом он годами ездил по этим селам, многое стерлось из памяти, но то лето, первое, студенческое помнилось в подробностях, выпукло, точно. Да ведь еще и записи дневниковые вел...

«Два дня дул южный ветер. На возвышенностях он так силен, так напорист, что когда дует в спину, кажется, можно откинуться назад — не упадешь. Теплый, он иссушает кожу, приносит жажду. На третий день ветер стихает. Облака сгущаются до дождевой черноты, опускаются на верхушки лесистых холмов. Холодает. А вечером — дождь.

На следующий день в Андросово — Троица. Ходят вереницей с гармошкой по улице, месят грязь. Гармошка в занавешенном дождем воздухе звучит сыро, тускло. Кислый запах самогона. Пьют торопливо, закусывая сырыми яйцами. Приходят кочуновские парни. Драка. Со звериным любопытством сбегаются бабы.

Дети наелись худой травы на кладбище. Машина, ведомая пьяным шофером, кренясь на поворотах, умчала больную девочку в Батогово, в районную больницу. В кузове металась простоволосая мать.

Молодежь вечером топчется в клубе, скудно освещенном керосиновой лампой, поют срамача. Те, кто постарше сумерничают, ужинают душистых избях.

Улица деревенская пуста, темна, продута ветром, освещается всполохами зарниц. Козленок, совсем крохотный, беленький, увязался и не отстаёт. Тоненько мекает, бездомный.

Андросово на всю округу славится озорными девками. Они охальницы. Когда едешь по селу, кричат веселую похабщину. Поймают мужика: «Качнем, девки!» И летит мужик в воздух, мелькая заплатанными штанами. Село бедное, но людное, веселое. Не угодившему председателю дважды пускали во двор красного петуха».

Даня попал сюда, пройдя всю лестницу областной иерархии: Большереченск — столица области, Батогово — райцентр, и наконец — вот оно Андросово. Соломенные крыши, шести скворечен. Палисадники, огороженные, где серым от дождей

штaketником, где плетнем. Летним днем улица пуста — изредка протарахтит подвода, пропылит грузовик.

Народ стягивается в колхозную контору в восьмом часу. Сидят в темноте, в махорочном дыму, вяло переговариваясь в ожидании председателя. Наконец он медленно проходит, устало садится, чиркает спичками, зажигая керосиновую лампу. И говорит всегда одно и то же: «Ну, мужуки...» Придвигая поближе к свету записную книжку, начинает вечерний наряд: «Сколько навозил, Демьяныч?» Подводят итог дня. Планируют работы назавтра. Засиживаются допоздна, разгораясь порой до крика, до мата. Где-то уж в десятом часу расходятся по домам — хлебать молоко, слушать по радио последние известия.

При всей неопределенности своего практикантского положения Даня находил себе занятия: помогал счетоводу заполнять ведомости, ездил с агрономом по полям, по землеустроительным планам разыскивал старые межевые знаки, приводил их порядок, менял столбы, окапывал.

К нему относились как к диковинной птице, неведомо как залетевшей в воробьиную стаю. Уж больно отличался он и обликом своим (длинные волосы и очки в металлической оправе делали его похожим на молодого Чернышевского), и произношением, и даже одеждой. Купленный им перед отъездом болгарский лыжный костюм с клапанами-карманами на фоне старых армейских гимнастеров и выношенных телогреек, в которых ходили парни его возраста, казался причудой.

Признание, что, несмотря на учебу в сельхозинституте, он, будучи человеком городским, плохо понимает сельские дела и даже рожь от пшеницы по ранним всходам не отличает, было воспринято с пониманием, но вместе с тем и как признак ущербности. Ему подробно разъясняли разные деревенские тонкости, что не отменяло добродушной иронии в отношениях.

Когда в конце вечернего наряда, он окликал председателя: «Федор Васильевич!», тот поднимал на него глаза, в которых усмешка проясняла, отгоняла хмарь забот, и улыбочиво произносил: «Что, Данил Семеныч, свет ты мой ясный? Ну что ты хочешь спросить?» И «мужуки» поворачивались к Дане, словно заново рассматривая его, ожидая, что эдакого выкинет этот го-

родской юрод. А он своим, казалось, простым вопросом — почему не начать сеять на таком-то поле или почему обделили премией такого-то человека — порой задевал неведомую болевую точку или подошпку отношений, которую и не объяснишь сразу да и не надо объяснять чужому человеку.

Скажем, он никак не мог понять причины недоброй ухмылки, с которой встречалось имя его квартирной хозяйки. Крепкую нестарую эту бабу по фамилии Лапочкина в деревне звали Нинонька.

— У кого живешь?

— У Лапочкиной.

— У Ниноньки? Хм-м.

Как-то старик-возчик, с которым он ездил разыскивать межевые столбы, при упоминании этого имени ожесточенно сплонул.

— Все село ненавидело эту суку.

— За что?

— Налоговым агентом она было. Моталась по селам с портфелем. Из-за нее мы сады рубили, молочных поросят резали.

— Из-за нее ли?

— Да разве мы не понимаем? Ведь и другие были. Но ладили с народом. А она, не успеешь куст смородины посадить, тут как тут стрекочет: «Давай налог, давай налог».

Он довольно точно изобразил ее частый сорочий говор и без всякой надобности хлестнул кобылу.

В сущности повторялся классический чеховско-бунинский сюжет приезда барчука, студента, семинариста, словом, молодого городского интеллигента в деревню. У Бунина он воплощался в сотрясавшей молодую данину душу драме «митиной любви». А годы спустя он перечитывал предреволюционные бунинские рассказы, в которых через образ крестьянина, через бешенство темной души прозревалось уже близкое будущее. Бунин словно любовался этими мужиками, не понимая, откуда берутся эти ступки нервной энергии, но предчувствуя ее слепой, все сметающий на своем пути разлив, которому суждено произойти несколько лет спустя.

Как-то в семидесятые, застряв в воскресенье в Орле, увидел в местном музее кушетку, на которой скончался Бунин. Узковатый матрас на ножках под коричневым покрывалом. Последнее его ложе, на котором он проснулся среди ночи в предсмертном испуге, так что, по словам Веры Николаевны, волосы — седые, всклокоченные — дыбом встали. И глаза безумные...

Рядом стоял письменный стол из его парижской квартиры — маленький, детский. Говорят, прислала русская эмигрантка, нашла на чердаке и послала на родину.

На стене под стеклом — послевоенный, 46-го года номер многотиражки «Правдист» со статьей Юрия Жукова, который тогда был парижским корреспондентом «Правды», о встрече с Буниным. Русский клуб, десяток стариков, чтение рассказа. И короткий разговор:

— Вы откуда?

Вера Николаевна: «А вы не знаете ли в Москве Зотовых?»

Бунин: «Вера!»

Вера Николаевна робко: «Ну, может, детей знаете?»

Бунин озадаченно: « В самом деле, дети... Двадцать восемь лет прошло. Дети выросли».

В следующей комнате — мебель Леонида Андреева. Все в каком-то декадентском преувеличении. Огромный стол с пишущей машинкой. Кресло словно трон с неправдоподобно высокой спинкой. На стене — фото двух детей — Вадима и Даниила.

Вадима во время его периодических приездов из Женевы Дания видел в конце пятидесятых в Москве. Элегантный седовласый джентльмен, говоривший по-русски с чистотой и правильностью начала века, словно любясь этим своим старомосковским произношением («коришневый», «верьх») сохранившимся там, в эмиграции в противовес современной жаргонной скороговорке.

А у Даниила глаза и на детском фото были те же, что и потом на позднем портрете в «Розе мира» — прозрачные, словно окна в астрал. Такие глаза были и у Андрея Белого.

Портреты и вещи Лескова, воссоздававшие в памяти его густую, физически ощутимую словесную вязь, Фета с неожидан-

но проступившим в старости обликом раввина, словно знака иной расы, тщательно скрываемого, но, куда ж от него денешься, секрета происхождения, иногда всплывающего в литературных легендах.

Дания вышел из музея пропитанный настоем русской культуры, которая Бог знает почему сконцентрировалась именно в этом старинном подстепье, в этом орловско-тульско-рязанском треугольнике. И все было перевито родством, дружбами и соперничеством сотни фамилий, так что, говорят, когда в Ясной Поляне пекли блины, то тепло закутывали горшки и на быстрой тройке отправляли в знак внимания в Спасское-Лутовиново.

Он прошел по тихой, заваленной тающим снегом Октябрьской улице до обрыва над излучиной Орлика. Справа раскинулся парк с беседкой-ротондой. Считалось, что здесь некогда было поместье, изображенное в «Дворянском гнезде». Издалека, с затянутой льдом реки раздавались крики и голос в репродукторе возвестил: «Победила команда третьего цеха». Из парка шли усталые лыжники.

В то лето 55-го отыскивалось в батоговском краеведческом музее и данино родословие.

Бревенчатая пристройка к школе. Изба не изба, скорее флигелек, в котором еще в земские времена жила учительская семья. Ключ имелся у старой учительницы истории. Дания нашел ее дома. В заношенном байковом халате, в галошах на босу ногу, ничем не отличимая от обычных деревенских старух, она направлялась в хлев с ведром поила для поросенка.

Придя с Даней к пристройке, долго ковыряла ключом в замке, распахнула осевшую дверь: «У нас тут еще не устроено, музей-то только организуется. Вы уж сами разбирайтесь что к чему... Только ключ на забудьте мне принести».

Он осторожно, словно бы крадучись вступил в эту просторную комнату, присел к овальному столу, за которым верно еще учительская семья пивала чай. За окном на летнем ветру моталась листва двух березок и «горячий шелест лета» был иной — не городской, ахматовский с парками на заднем плане и прохладой гулких подворотен, а деревенский, в глухой тишине

русского провинциального полдня. В комнате пахло пылью, гниением.

Даня доставал из незапертых шкафов связки старых бумаг, ломкие желтые фотографии, книги в старинных переплетах, торопливо перебирал их на столе, будто искал что-то. Что? Он и сам не знал, но было некое предчувствие, порожденное то ли отцовской репликой на вокзале и его отсекающей всякие распросы мгновенно возникшей отчужденностью, или смутные семейные воспоминания, отзвук рассказов матери, которая и сама-то не так много знала о той его жизни.

Во всяком случае Даня не особенно удивился, отыскав таки снимок трех молодых людей, запечатленных с той особой лстящей выразительностью и гладкостью тонов, которая была свойственна старинным фото. На обороте имелись фамилии трех уполномоченных по хлебозаготовкам и дата — год 1930-й.

Отец стоял посередине с таким же решительным лицом и плотно сжатыми губами, как и у двух других, одетый в кожаную тужурку, из-под которой виднелась косоворотка.

Эх, тужурка-тужурочка! Кожа грубая черная, а из кармана — рукоятка пистолета высовывается. Образ власти, образ силы, мужества. В черную кожу зятая охрана Троцкого, его личная гвардия — ангелы революции, павшие потом под пулями уже других более поздних ангелов в лубяньских подвалах. Гладкая как лайка черная кожа эсэсовских офицеров. На фото Гиммлер по лестнице поднимается вместе с Вольфом и так мягко переливается кожа их пальто.

Эту-то их родимую отцовскую тужурку Даня помнил. Мать возила ее с собой уже вытертую на швах всю эвакуацию, как валюту, пока не продала или обменяла на хлеб.

А после войны отец, будучи какое-то время на положении вольноотпущенника на Колыме и занимая там мелкую коммунальную должность, кажется, коменданта общежития, прислал им посылку с вещами из «американских подарков».

— Мама, что это ты делаешь? — спрашивает юный белокурый Джон в Миннесоте или Нью-Гэмпшире.

— Мы помогаем семьям в России, — отвечает мама-WASP (бельгий, англо-сакс, протестант). — Ты знаешь, там плохо живут. У них нет ни еды, ни одежды. Я посылаю твою пальто, ты все равно его не носишь. И папины перчатки.

— Да-да, конечно, пошли им мое пальто, у меня есть куртка, — говорит добрый белокурый WASP-Джон, воспитываемый в традициях протестантской этики.

Эти посылки переправлялись почему-то в основном на Колыму и шли местному энкаведешному начальству. Кое-что там же попадало на рынок. И уж купил ли отец эти вещи на рынке или достались они ему как крохи с барского стола, сказать трудно, но мать, перебирая для продажи полученные вещи и, поймав данин молящий взгляд, вручила ему перчатки.

Он натягивал их, выйдя на лестничную площадку, тем жестом, который не раз видел в кино, вытянув сначала одну руку, потом — другую, так что кожа и теплая подкладка плотно охватывали ладонь и пальцы, передавая им уверенность и силу. Солнце било сквозь пыльное стекло подъезда, а потом снег хрустывал под ногами и руки так ладно мотались в такт шагам. И шаг был упруг, и январский воздух наполнял свежестью грудь...

Отцу на этом фото было 23. Видно, его послали из Москвы, где он работал в ЦК профсоюза сельхозрабочих, сначала в Большереченск, а уж потом в район, где он вошел в состав тройки уполномоченных.

Слово страшное, роковое. Тройки судили, тройки рядили, тройки хлеб отнимали. Тройка, семерка, туз. Они и были тузами, продовольственными диктаторами местных сел, эти трое ребят в кожаных тужурках.

«Мне пришлось сегодня крепко повоевать на тройке. Отдельные ребята, вдаваясь в детали, скатываются к осторожности: «не взять больше», «не обидеть», а это уже пахнет сам понимаешь чем. Сам секретарь райкома, давая сегодня политическую установку наступления на кулака, впал в филантропию. Его установка — «нажимать, но оставлять на посев,

на прокорм семьи, детей, подсчитывать излишки». Это, по сути дела говоря, забота о кулаке, а не нажим на него, я так это здесь формулировал и говорил, «когда наступаешь, не жалей, не думай о голодных кулацких детях, в классовой борьбе филантропия — зло».

Господи, это ж отцовский почерк, это ж он в обком писал, судя по всему, докладывая о делах, да что там докладывая, донося. Но тем же почерком писалось в данином детстве: «Дорогой сыночек! Я рад, что ты хорошо окончил учебный год, что у тебя ни одной тройки. Ты растешь у нас умным и прилежным мальчиком...»

Шляпная коробка полная его писем из лагеря, из ссылок, полных нежности, тоски, страдания. А тогда сам ли он говорил: «Не думай о голодных кулацких детях»? Страх ли ему это говорил? Ведь был он и диктатор, неумолимый, жесткий, карающий, и раб, трепещущий перед высшей волей. «Мы не ра-бы, ра-бы не мы!»

Даня засиделся в музее до сумерек. Пошел дождь. Небо обложилось. В окно потянуло сырой прохладой. На крыльце зашуршали шаги, заскрипела осевшая дверь, в комнату вошла, отряхивая мокрый плащ, учительница.

— Чтой-то вы засиделись. Я уж думала: отбыл мой москвич к себе в Андросово, а про ключ запамятовал.

Она была какой-то другой, чем днем. Прибралась, помолодела, и говорила не тускло и отрывисто, как днем, а певуче, с модуляциями, так что не скучной деревенской старухой, а уж, пожалуй, и в самом деле учительницей выглядела. Протянула руку ладошкой, представилась: «Антонина Ивановна», но в ответ на данино представление: «Тарбовский Даниил», спросила, бросив острый взгляд: «А по отчеству?». И переспросила: «Семенович? Так я и думала, что вы сын Семена Тарбовского. Фамилия редкая, да и сходство имеется».

— Неужто помнят его здесь? — спросил Даня. — Ведь двадцать пять лет прошло.

— По-омнят, как не помнить, — с неопределенной интонацией сказала учительница. И Даня внутренне напрягся, пыта-

ясь угадать, что стоит за этой неопределенностью, за растянутым «о-о», и сам же себя начал уговаривать: «Да нет же, вряд ли, историю преподает, про коллективизацию говорит то, что положено, почудилось мне...»

Пауза разрешилась неожиданно.

— Куда ж вам теперь десять верст до Андросова топтать в дождь да в ночь? Оставайтесь ка у нас, мы с моим Сергеем Кузьмичем вдвоем, места много, поужинаем, настоечки домашней выпьем, а завтра с утра райпотребсоюзская машина с товаром в Дубки пойдет, до поворота вас и захватит, все ближе идти.

Ужинали картошкой со шкварками. Настоечку, оказавшуюся обыкновенным, хорошей очистки самогоном, налитым в пузатый графинчик, закусывали квашеной капустой и салом.

— Все у нас по-деревенски, — говорила Антонина. Все и в самом деле было по-деревенски — фотографии родни на стенах, тканый ковер на стене, никелированная кровать с горой подушек. Но городской сервант с рюмками и чайным сервизом, радиоприемник говорили об известном достатке, объяснявшемся должностью хозяина дома, работавшего бухгалтером в райпотребсоюзе. Сам хозяин — грузный, пожилой мужик в круглых роговых очках на мятом добродушном лице больше помалкивал да потягивал настоечку, а потом, отойдя от стола, тихонько включил приемник. Хозяйкин же монолог был неостановим.

— Я сама-то родом из Кочуново. Но в Андросово всегда беднота жила, оттуда к нам в Кочуново работать на огороды ходили. А кочуновские мужики были богатые. Они ж молокане, сектанты, а сектанты всегда богатые были — не курили, не пили, библию читали. И мой батюшка был молоканином, по библии жил. Свиной держал по пять-шесть маток, поросятами торговал. Огород на шесть десятин. Это ж какое хозяйство. Вот и ходили андросовские ребята к нам в Кочуново — сажать, полоть, поливать.

— Отчего же так получалось? — перебивал Даня. — В одном селе беднота, батраки, а в другом — кулаки? В чем тут дело?

Антонина, как бы не обратив внимания, на слово «кулаки», развела руками.

— Да ведь андросовские всегда лодыри были да озорники,

они и сейчас такие. Так уж повелось. А наши кочуновские уж как рассудительны. Вот ведь у нас дома, у батюшки полка с книгами по садоводству, сельскохозяйственные журналы, кодекс законов о труде. Не гляди, что простой мужик. И машины у него уже тогда сельскохозяйственные были. А в доме и стулья с мягкими спинками, и посуда медная, и занавески кумачовые, на окнах герань обязательно, а на кровати — перина. Но с 29-го все кончаться стало. Андросовские ребята забастовку объявили. В общем-то требования справедливые были: восьмичасовой рабочий день, ставки почасовые поднять. Поливальщикам — сапоги, остальным — халаты. Но и наши, кочуновские им отвечали: «Вы посмотрите, какие мы налоги платим, легче распахать огороды под пшеницу». А налоги и правда к тому времени страшные были, самых зажиточных облагали по индивидуальной ставке и словечко тогда такое придумали — «индюки». Кочуновские — свое, а андросовские — свое. Может андросовские и не выдержали бы, есть-пить надо, сломались бы, да им из Большереченска, из окружкома профсоюза деньги привезли, по рублю раздали, а потом еще. И знаете, кто эти деньги им привез?

— Отец? — догадался Даня.

— Правда, ваш отец. Он, говорят, сначала по профсоюзной линии работал. Потом уж уполномоченным по хлебозаготовкам стал. А уж что началось в 30-м! Кочуновских хозяев выслали стали. Я-то к тому времени уж замужем за Сергеем Кузьмичем была, в Батогове жила, и сестренку Груню, ей лет пять тогда было, к себе взяла. А то и ее бы с родителями выслали. Но после раскулачивания — полный содом в нашей деревне пошел. Колхоз то укрупняли, то разукрупняли, то какое-то заводское подсобное хозяйство организуют, то его вскоре и ликвидируют, то каких-то переселенцев пришлют. Огороды забросили, а ведь какие обозы с овощами да картошкой ходили от нас в Большереченск на рынок, как город-то кормили. Словно поварешкой в котле кто-то перемешивал нашу жизнь... А потом война, бабы на коровах пахали, лебеду ели, в хлеб кору толченую подмешивали... А потом...

Антонина хмельно махнула рукой и разлила остатки самогона по рюмкам.

— Сестра-то ваша та самая Аграфена, у которой мой товарищ в Кочуново живет?

— Она. Я ее растила как дочь, когда родителей выслали. Да потом за кочуновского парня выдала, вот и вернулась она туда. А парень возьми да погибни по пьянке в драке. И осталась она молодой вдовой. А что товарищ-то ваш, я его видела как-то у Груньки, что за человек? Вас вот как-то сразу видно — студент, москвич. А он вроде и постарше, разве студенты такие бывают?

Значит, знает, подумал Даня сквозь самогонную одурь прежде, чем сказать то, что ему уже не раз приходилось говорить в ответ на расспросы о Николае. Постарше других студентов потому, что воевал, в армии служил. Родом откуда-то с Украины. А так парень как парень. Не открывать же этой деревенской учительнице, у которой к тому же здесь свой интерес имеется — забота о сестре, с которой, как она понимает, спит этот великовозрастный студент, — ту странную и самим Даней непознанную, а скорее угадываемую глубину и сложность николаева характера, то что занимало, манило и вместе с тем отвращало от него Даню. Тем более, что и выразить это было невозможно... Что сказать? То, что пьет и временами запойно, что бабу не упустит, а бабы что-то в нем находят при всей его заурядной внешности: худощав, сутуловат, волосы клином на лоб, шрам от виска к подбородку, молчалив, руки подрагивают, курит непрерывно дешевый «Прибой». Так ведь не пацанская же у него неумелость Дани, какой вечер безуспешно тискающего андросовскую фельдшерицу на бревнах около ее дома под звуки затихающей на окраине гармозы?

После этого разговора с Антониной Даня несколько по-другому стал смотреть на хозяйку Николая, у которого бывал каждое воскресенье, благо Кочуново от Андросова всего на три километра. Груня была плотная, крепко сбитая, простоватая молодая баба с добродушным конопатым лицом.

Работая в колхозном свиноматке, она и дома держала двух свиноматок, которые поросились у нее прямо в избе, пока Николай, которому видно надоел этот свиной роддом, не отремонтировал старую баню, приспособив ее под поросычью

теплушку, куда и переехали две огромные меланхоличные хавроньи. Но ведь еще и огород был здоровенный. Одного лука по тонне собирала и сдавала в сельпо. А это ж труд адский, бесконечный — все лето сажать, полоть, поливать. Так что сидя с Николаем за воскресным застольем и вполъязна прислушиваясь к потоку его сознания, где обрывки есенинских стихов шли попеременно с рассуждениями о смысле жизни, («для чего живем, ну для чего живем, мучаемся, бьемся, ты ж, мальчишка, ничего еще не видел в жизни, знал бы ты, что я видел...»), Даня все время боковым зрением видел в окно мощный грунин зад и часть спины, склоненной над грядкой.

Куда, зачем ей было такое хозяйство, разве что слава богатой невесты прельщала или отцовские гены сказывались?

Больше всего его однако поразило, что большая запущенная грунина изба-пятистенка, оказалась отцовской.

— Так отца ж сослали, значит и дом должны были отобрать?

— Отобрать-то отобрали, да передали секретарю сельсовета, отцу моего покойника-мужа. Он, свекр-то, сильно грамотный был, партийный, а руки-то ему, видно, не тем концом вставили. Жили они в развалюхе, говорят, и крыши почти не было. То-то он все о революции заботился, рассказывают, газеты вслух соседям читал да разъяснял, не до крыши ему было. Вот и отдали ему батюшкин дом, а когда я за сына его вышла, здесь и поселилась. Правда, свекра к тому времени на войне убили. А потом и сынок его колом по башке получил по пьянке. Так и осталась я одна в батюшкином доме.

Портрет батюшки висел на стене, наверное увеличенный с какой-то старой фотографии так что черты скуластого бородатого лица расплылись словно затянутые поволокой времени, но взгляд ощущался серьезный тяжелый.

Никакой мебели, о которой говорила Антонина — стульев с мягкими спинками, полка с книгами, медной посуды — в доме не было. Спросив о книгах и журналах, Даня получил совет посмотреть на чердаке. Отыскивая в пыльном хламе учебники по свиноводству и батюшкины записные книжки, Даня дивился тому, как обстоятельно и глубоко хозяин дома знал свою профессию.

Судя по всему, эти кочуновские молокане завозили английских хряков с могучей производительностью, заселяя метисными скороспелыми свинками не только свои просторные хлева, но и катухи окрестных крестьян. Эти беконные скороспелки, откармливаемые по науке, обогащали молокан, и если бы не коллективизация с ее повсеместным отъемом зерна, они бы заваляли дешевым мясом Большереченск. И тут же припомнилось читанное в Батоговском музее выступление уполномоченного по заготовкам Петра Киреева, входившего в ту же «тройку», что и отец: «Для государства важнее всего зерно, а свинью сожалеть не приходится: корму она, если захочет, найдет. А то — продать можно».

Как они тут правили бал! Да они ли? То же ведь винты были машины, под которую попал и батюшка грунин и все его молокане со своим научным свиноводством. Исчезли, растворились в лагерной пыли разве что могучая эта девка по каким-то там неведомым генетическим законам несет в себе отцовскую хозяйственность, результатом которой стали две огромные свиноматки, лениво лежащие в построенной Николаем теплушке.

— Ах, Аграфена, — вздыхал Николай, оглядывая ее стати. — Тебе бы детей рожать да побольше, мужа обихаживать...

— Вот и взял бы меня...

— Куда мне. Тебе другой мужик нужен, не я — пытанный, мученый. Я свое отженихался.

О какой-то его незаживающей ране, связанной с женщиной, Даня давно догадывался, но расспрашивать о туманном николаевом прошлом не считал нужным. Почти у всех окружавших его людей старшего поколения имелось тягостное прошлое — войны, тюрьмы, разломанные семьи, годы хождения по краю смерти. Все это было фоном жизни, ее фундаментом, той зыбкой почвой, которая как болотная хлябь таила в себе трупы, муки, распяленные криком рты. Он и отца ни о чем не расспрашивал, понимал, что бесполезно, пока сам не заговорит, знал, что рано и или поздно наступит миг, когда прошлое начнет исходить из человека словами, мутными страшными словами словно пена, рвота. А до той поры спрашивать не нужно.

У отца такое излияние было лишь однажды.

Вдвоем с Даней они поехали в крымский санаторий. Мать с той поры, как появился садовый участок, который она обихаживала с упоением и куда вывозила на лето внука, всеми этими санаторскими благами, положенными отцу, как персональному пенсионеру, не пользовалась. Отец же неизменно забирал бесплатную путевку и терпеливо выносил монотонность и скуку стариковского отдыха, расхаживая с такими же пенсионерами по терренкурам, не пропуская всякие целительные процедуры.

Но в тот раз ему сопутствовал Даня, так вымотавшийся после защиты диссертации, что решено было на семейном совете поехать ему в санаторий, чего он никогда ни до того ни после не делал.

Они бродили по роскошному парку, засаженному пальмами, пирамидальными тополями и кипарисами, сидели на пляже, обтекаемые разноликой загорелой толпой и говорили, говорили.

Вернее говорил в основном отец, а Даня вылавливал и опускал в память обрывки сюжетов, картины, образы, детали лагерного быта, подхлестывая отцовский поток сознания, короткими вопросами. И оставались они в нем навсегда, те картины, словно сам он ранним ледяным утром, накрутив на ноги запас тряпок, приладив лапти и надев телогрейку и бушлат, бежал в толпе эзков в столовку. А потом, поев вполсыта, стоял у раздаточного окошка или бродил как заговоренный у столов. Кто знает, может, улыбнется судьба и удастся выпросить у повара полчерпачка добавки или какой-нибудь уркаган потехи ради или для шика оставит в миске ложку каши или болтушки с хлебной коркой. Высший шик для богатого и хлебного вора оставить чуток каши и бросить ее «пятьдесят восьмой», крикнув при этом: «Ловите, контрики! Алле гоп!»

Эту утреннюю охоту за райскими дарами надо вести умеючи, загодя присмотреть и занять позицию и, главное, изловчиться, чтобы не мешкая уловить момент и на лету схватить брошенную миску. Требуется цепкость глаза, сноровка, быстрота в движениях. Ухватив одним захватом жестяную миску, надо быстренько вылакать остатки живительной каши через бортик. И все это делать аккуратно, не как обыкновенному ша-

калу-торбохвату, а вроде бы с непритворным достоинством, не назойливо и чтобы не тряслись руки. И улыбнуться нужно. Много говорит эта улыбка: и спасибо, дескать, и напоминает, что и ты человек, хотя и «пятьдесят восьмая».

Годы спустя Даня будет по памяти записывать лагерные рассказы отца. Не для себя, для сына, внуков, которым, впрочем, вполне возможно, все это будет безразлично. Хотя может быть кто-нибудь один в потомстве прочтет, задумается и для этого одного и надо писать, в расчете на его память.

В компьютере данином была установлена корректорская программа, распознававшая ошибки, неверно написанные слова и подчеркивавшая их красным. Так вот слова «уркаганы», «контрики», «торбохват» она выделяла красным, не узнавая, не принимая их. Не было в ее памяти этих слов.

«В ожидании развода эки сидят в бараке, низко склонив головы, вокруг печки — большой ржавой бочки на четырех камнях. Зажмурился глаза, протянув к бочке руки, раскачиваясь как в молитве Игнат Рубанюк (пятьдесят восьмая, пятнадцать лет) тянет вполголоса: «Поет, смеется, играет, дорогая...». Печка уже не поет, не смеется, не играет, она остыла. Но никто не уходит от нее до самого развода. Каждый эк стережет свое место. Не зря ведь поется: «Ты, начальник, лучше кашки не доложь, ну а только ты от печки не тревожь...»

Рядом с Рубанюком сидит, весь сжавшись, его сосед по нарам Петр Яблонька, мужик из-под Винницы (пятьдесят восьмая, восемь лет). Он держит на сомкнутых ладонях непечатую пайку и как приколдованный не сводит с нее глаз. Он словно творит над ней заклинание, впившись в кусок хлеба глазами, всей плотью, всем нутром. Он весь набит голодом и страхом. Ему мучительно смотреть на хлеб, но и не смотреть он не в силах. Ему кажется, что этот кусок хлеба упивается своей властью над ним.

Потом веревочкой, скрученной из трех ниток, Яблонька отделяет от мякоти корочку, не всю, а кусочек, облизывает, вдыхает ее дух и, оцепенев, долго держит во рту, пока тот не растает. Той же веревочкой он разывает мякиш на три равные доли.

Кладет на ладонь одну, долго смотрит на нее и тихо шепчет: «Это утром». И с недоумением: «Не получается». Кладет на ладонь вторую: «Это на обед». И с тем же недоумением: «Не получается». Кладет третью: «Это после отбоя». И совсем тихо: «Не получается». Словно сраженный этим открытием он обводит взглядом сидящих вокруг бочки, заглядывая каждому в глаза: «Не получается...» И все сознают: кончился человек, идет ко дну. Каждый думает про себя, я-то еще может быть выплыть, даже если и дойду до дна, какой-нибудь выход найду, а у Петра Яблоньки выхода нет».

Но ведь есть же, есть выход, думал Даня. Ведь и к нему во всей полноте благополучной молодой жизни эта мысль приходит: какой все-таки соблазн кончить все разом и вдруг, отправиться куда-то в неведомое, может воссоединиться с Единым, стать его частью, раствориться в этом Едином вне сознания и стало быть вне страдания, вне всего. И вкрадчиво спрашивал отца: «А если на проволоку, под пулю? Может это и есть выход?». Тот долго молчал, как-то странно поводя головой, словно озирая, видя и не видя коричневую человеческую плоть, что окружала их на пляжных лежаках, исходя ленью и истомой, море, искрившееся, сиявшее, звучавшее криками купальщиков, а потом сказал:

— Знаешь, когда я по-настоящему был счастлив, вот так как никогда и нигде?

— В лагере? — осторожно спросил Даня.

— Не просто в лагере. Однажды я попал на придурочную работу — санитаром-трупносом. Хоронили там людей так: кладешь покойника голого с привязанной к большому пальцу ноги деревянной биркой на санки, прикрываешь его старым бушлатом, привязываешь веревкой вдоль и поперек и тянешь санки в сопки. Там есть специальное могильное место — верхний слой земли взорван аммоналом, копать-то даже летом можно лишь на два штыка, дальше вечная мерзлота. Потому и взрывали. Яма неглубокая, но большая. И лежат там слоями трупы, впритык, один к одному, как бревна-топляки на речном дне, замерзшие, так что, если лопатой коснешься — звенят.

— Думаешь и сейчас лежат?

— А куда ж они денутся? Вечная мерзлота. Ни гниения,

ни разложения. Лежат в полной сохранности. Только теперь наверное землей поглубже присыпаны. Положишь своего покойника и назад. А придурочной эта работа считалась еще и потому, что последняя хлебная пайка покойного достается тому, кто его хоронит. И вот приходишь днем в пустой барак, а у тебя за пазухой две пайки — своя и его. И лезешь под нары, к бойлеру, если он еще не остыл. Притиснешься к его теплому боку, телом греешь две горбушки. Особенно хорошо, когда горбушки тебе достанутся. Их сосать долго можно, мякиш он сырой непропеченный. И вот сосешь ты эту корку, тебе тепло, хорошо в этой темноте, словно в утробе матери лежишь. И никаких желаний у тебя нет, ничего тебе больше в жизни не надо. И вот веришь, я уж шестьдесят лет прожил, вроде бы все испытал, что положено человеку, и хорошее, и плохое, а большего счастья не было.

— Ты хочешь сказать, что лагерь низводит человека до животного уровня. И это счастье?

— Можно и так понимать.

И каждый ушел в свои мысли. А в данином сознании все билось и билось то, в чем невозможно было признаться отцу — прочитанные в батоновском музее его слова о голодных кулацких детях из того донесения в обком.

Николай не раскололся ни разу. А уж сколько у них с Даней пьяных застолий было, в самый бы раз исповедоваться, вспоминать. Но в хмельном бормотанье николаевом, сопровождаемом словно у еврея на молитве раскачиваньем из стороны в стороны, в чтенье стихов и прежде всего любимых им есенинских, в обрывках бессвязных воспоминаний о детстве — сельском украинском, о какой-то Кате, осмысленного связного как у отца рассказа о прошлом (а Даня догадывался, что был лагерь для военнопленных, видимо, скрываемый в анкетах, и вообще война была) не получалось.

С отцом Николай сошелся сразу, но как-то странно они сошлись. Выпивать вместе выпивали, но разговаривали мало, разве что перекидывались малозначащими репликами. Тем не менее отец как-то заметил: «Он много чего повидал, этот твой Николай». И то ли уважение, то ли какое-то раздумье было

в этой реплике. Почему-то он именно Николая расспрашивал об их институтской жизни. И вообще Даня чувствовал себя в их присутствии мальчишкой, эдаким опекаемым щенком в присутствии двух старых барбосов.

Между тем в учебе скорее Николай, с трудом переползавший с курса на курс, особенно если учесть его частые запойные отлучки, был опекаемой стороной. Он мгновенно схватывал практическую сторону хозяйственных отношений, но общие категории экономики и особенно политэкономии проходили мимо его сознания.

Во время ночных бдений на кухне Тарбовских, где они вместе готовились к экзаменам, Николай отчужденно смотрел на Даню, терпеливо объясняющего разницу между прибавочной стоимостью и прибавочным продуктом. Тусклая пленка, появлявшаяся в его глазах, была свидетельством не только равнодушия. Он словно отъединялся от всей этой премудрости, словно защищал свою душу от холода бесплодных умствований. Да и не просто умствование это было для него, много лет спустя думал Даня, а знак насилия, ужаса мира, вырывающегося то пытки и лагеря, то ледяные давящие человеческую душу теории.

После экзамена они обычно отправлялись в пивную у Курского вокзала, где Николай, отхлебывая из кружки, доливал ее водкой из припасенной четвертинки, а Даня, стоя у высокого круглого столика и потягивая жидкое пиво, добросовестно всматривался в дымную шумную хмарь, впитывая в себя пьяные лица, зыбкие жесты, выплескиваемые со дна души монологи. Его молчаливое внимание иногда почему-то оскорбляло посетителей пивной, норовивших заехать ему в морду без всякого внешнего повода. И Николай, проявлявший немалую сноровку в драке, выхватывал его из толпы, крича: «Говорил я тебе, не смотри ты так на них!»

— Как? — спрашивал Даня, когда они оказывались на безопасном расстоянии от пивной.

— Да так. Строго как-то... Да еще и очки. Ну, каждому нормальному русскому человеку, встретив такой взгляд, так и хочется заехать по очкам. Ты что не понимаешь?

Уладив конфликт между интеллигенцией и народом, они мирно отправлялись в другую пивную, где Дане оставалось лишь исподволь кидать на людей свои дразнящие взгляды.

Живя у Тарбовских по неделе во время студенческих сессий, приветливо обихаживаемый матерью, которая при этом не забывала использовать его руки в разных домашних делах, Николай однако старался не злоупотреблять гостеприимством хозяев, уходил в общежитие или к одной из своих многочисленных баб. Уходил в чем был, не предупреждая, оставляя единственное свое достояние — старый коричневый кожаный чемодан. Этот чемодан так и остался стоять в квартире Тарбовских уже после смерти Николая на полотах в коридоре — специально им же сколоченных по просьбе матери полках под потолком для хранения старых вещей.

Бабы николаевы это особый сюжет.

Была Марь Петровна, мастер типографский, начальница над ретушерами и фотографами, которым каждодневно полагалось на технические нужды по пятьдесят граммов спирта. Никто, ясное дело, эти «фронтовые» граммы на такие нелепые цели как «протирка оптики» не употреблял. И пиры их втроем в двухкомнатной квартире Марь Петровны на Самотеке, где жила она вдвоем со старухой-матерью, были острые спиртовые.

Николай пил не разбавляя, не вставая с дивана, на котором Марь Петровна отогревала его плотным коренастым телом, да и Даню, как ему казалось, не прочь была бы пригреть, так что пир мог обогатиться свальным грехом, превратиться в языческий загул втроем на одной постели. Но Даня в преддверии этого момента, обозначаемого томными взглядами Марь Петровны и ободряющими — Николая, уходил, брел по Садовому кольцу, плыл в волнах хмеля, в колеблющейся зыбкой ночи.

Была Фаина, официантка в вагоне-ресторане, тощая, стервозная, с низким прокуренным голосом, с болтающимися козьими грудями. К ней Николай уходил после ее возвращений из поездки, когда в приносимых Фаиной сумках с харчами благородно круглились бутылки со «Столичной». Она же поделилась с Даней профессиональным официантским секретом — как пре-

вращать «Московскую» за 2.87 в «Столичную» за 4.12. Надо насыпать в бутылку половину чайной ложечки сахарного песка, размешать и тогда никто не отличит. Этим ее секретом Даня пользовался многие годы, облагораживая «Московскую» перед приходом гостей и наливая ее в пузатый графинчик.

А потом наступил черед Стешки. Ее просторная дворницкая в полуподвале огромного дома на Таганке, стала последним приютом Николая в этой жизни. Даня отыскал его там воскресным утром, когда в деканате сказали, что больше у них терпения нет, понятно, конечно, что Николай участник войны, человек нездоровый, возможно, с больной психикой, ну, так пусть и лечится, а институт не богадельня, если он не появится на занятиях, не сдаст хвосты по сессии, его отчислят, это последнее предупреждение.

Николай со Стешкой уютно, по-семейному завтракали вареной картошкой и квашеной капустой. На столе стояла бутылка мутноватого самогона. Стешка, пожилая тетка в ситцевом платье, облежавшем ее могучие формы, с туго заплетенной жидкой седой косой, с сипловатым от долгого пребывания на морозе голосом, будучи, видимо, наслышана о Дане, ласково засуетилась, наглядывая на тарелку дышащую паром картошку, наливая в граненый стаканчик самогон.

Дворницкая с окном на уровне тротуара была обставлена по-деревенски — никелированная кровать с горой уменьшающихся кверху подушек, сундук, икона в углу.

Николай сидел отрешенно, вяло жевал, молчал, в ответ на данины новости равнодушно кивнул. Он похудел, весь как-то уменьшился в размерах, рука, тянущаяся за стаканчиком, тряслась.

Несколько дней спустя, Стешка, бог весть как отыскав данину квартиру, бросилась ему на грудь в темной передней, сотрясаясь от рыданий, крича: «Данюшка, Данюшка, из петли я его вынула, да ведь неживой он, нет его больше...»

Она ушла скрести тротуар, день был снежный, вьюжный, вернулась часа через два и нашла его висящим на бельевой веревке, прилаженной к потолочному крюку. На похороны, которые Дане пришлось организовывать, Стешка не пошла, застеснялась.

Другие бабы были, к тому же будучи к даниному изумлению, знакомыми между собой.

Даня общался с ними в разные периоды своей жизни. Фаина позванивала, возвращаясь из поездок, а потом, уйдя с железной дороги, зазывала к себе в поплавок на Москве-реке, так что он с друзьями не раз заезжал туда, обслуживаемый как свой, по первому разряду.

Стешка нашла им с Зарой после свадьбы съемную квартиру в том же полуподвале, и они едва ли не год соседствовали. И даже с Аграфеной, вышедшей-таки второй раз замуж, он виделся, приезжая в Батогово, и сыну ее помогал впоследствии устроиться в Москве, будучи отдариваем кусками сала, деревенскими андросовскими гостинцами, так что отменное это сало, отлично просоленное и прочесоченное, в их доме не переводилось.

LOVE STORY

В какой эмбриональной тьме жизни зарождаются эти извечные переплетения случайностей и закономерностей, определяющие судьбоносность встреч, поступков, решений? Твои будущие мать и отец оказались на соседних местах в поезде и двое суток, проведенные в тесном пространстве купе, предопределили их дальнейшее совместное существование и, стало быть, твоё рождение. Где бы был ты, если бы отцу досталось место в другом вагоне? Этот детский вопрос всегда занимал Даню. Иногда ему казалось, что детские вопросы и есть самые главные. Он снимают замкнутость повседневности.

А цепочка случайностей, которая привела к его встрече с Зарой?

Сначала день рождения друга детства, на котором он сидел рядом с хорошенькой.

Это чеховское — «хорошенькая». В разлив молодого упоения жизнью полной ложкой хлебал Чехов это настоящее на пошлости мироощущение, да и потом, в зрелые годы, в пору лучших рассказов прорывалась холостяцкая кобеляжная игривость. Контраст таланта, его подспудная диалектика.

Как Дане-то не купаться было в юном буйстве гормонов? Телефонная книжка, где все мыслимые женские имена да еще в двойном, тройном комплекте, а поскольку фамилии узнавать было не принято, то тут же и пометки места жительства, чтобы не перепутать — скажем, Люда «Таганка», а рядом еще и Люда «Арбат». Знакомства на улице, в компании, в метро, заигрыванье, от которого самому тошно становилось: «Девушка, а девушка...». Шлянье ночами по бульварам, набережным, перемежаемое тисканьем в подъездах, чтение стихов — от скуки, от немоты, от невозможности говорить целый вечер. И социальная иерархия — продавщицы, секретарши, студентки — свой круг, не свой круг, с одними можно спать, на других можно жениться, но жениться — только по любви, но никак не по расчету. Парень, женившийся на некрасивой дочке богатого зубного врача, был презираем. Сложная смесь цинизма и романтики, иллюзий и жестокости.

Хорошенькую, которая оказалась подругой детства хозяина дома, сопровождал отец — седой, подтянутый, с актерской повадкой. Прерывая данины заигрыванья с дочерью, он то и дело предлагал выпить, поднося то бокал коньяку, то фужер с шампанским. Хорошенькая постреливала глазками, бокалы становились все полнее, седовласый пил вровень с Даней, подхлестывая их как бы уже отдельное застолье полуироническими тостами за настоящих мужчин.

Потом все хмарно, зыбко, обрывочно. И провал, небытие. Очнулся на своем диване. Боль головная чудовищная, выворачивает до желчи в таз, подставленный матерью. И лицо ее плачущее, и встревоженное — отца.

Ох, этот таз! Отец как-то вскоре после возвращения споткнулся об него, выйдя из спальни.

— Что за черт? Откуда здесь таз с водой на самом ходу?

— Тише, тише, — прошептала мать. — Даня поздно пришел, выпивши наверное.

— Ну и что?

— Его часто тошнит после выпивки.

— А-ха-ха, — зашелся в хохоте отец. — Ну, гуляка, ну, алкаш... Это он всю ночь гулял, и мама ему таз с водой ставит.

Он так хохотал, что завалился, рухнул всем телом на Даню, на диван, на котором тот спал.

У него самого даже голова не болела, сколько бы он не выпил накануне.

Вообще-то его вхождение в их с матерью жизнь, где, казалось, пуповина не перерезана и кровь пульсирует в общем организме, было не так просто и весело. Когда-нибудь на поминках по отцу Даню обнимет старик из того лагерного отцовского мира и жарким шепотом будет рассказывать о том, как они воспринимали XX съезд и разоблачительный доклад Хрущева, и отец выкрикнет тому старику: «Будь оно все проклято! Я вон с сыном родным общего языка не нахожу».

В тот день было не до смеха. Пришлось вызвать врача. Он пощупал живот, сокрушенно покачал головой, сказал, что, пожалуй, печень затронута, и дал бюллетень. Желтый, измученный головной болью и неотступной тошнотой, Даня лежал на своем диване, не понимая, как такое могло с ним произойти.

Позвонил друг детства, посокрушался и, вспоминая обстоятельства вечера и седовласого искusstителя, спросил:

— А ты зачем его жену кадрил?

— Какую жену? Дочь. Я думал, что это его дочь.

— Думал... Он и спойл тебя как мальчишку. Кто ж коньяк с шампанским мешает?

— Так он и сам пил.

— Сам-то он непромокаемый. Старая актерская школа.

Потом позвонила Люба, с которой они вместе должны были ехать на юг.

— Я ж не могу отложить отпуск, билеты куплены... — плаксиво кричала она в трубку.

— Мой билет сдай. Я отлежусь, приеду, проведем вместе не месяц, а две недели.

Но они не провели вместе и дня. И вообще больше не виделись никогда, если не считать мимолетной встречи на Одесском

вокзале лет двадцать спустя, когда Даня хмельной и веселый с провожающей его компанией шел по перрону, и вдруг увидел ее стоящей у вагона в толпе провожающих, совсем не изменившуюся — такую же высокую, худенькую, длинноногую. И стояла она в толпе отстраненно, никого не замечая, словно видение из даниного прошлого, воспоминание о том коротком телефонном разговоре, поставившем после его приезда с юга точку в их отношениях. А может это была ее дочь или вообще не она...

Промаявшись с последствиями той пьянки с месяц, Даня поехал в Хосту один. Поселился в крохотной комнатке, куда солнце проникало сквозь увитое плющом окно и потому свет казался зеленым, перечитывал «Фиесту» Хемингуэя, много плавал, много спал то на диком пляже в тени кипариса, то у себя в комнате. Иногда в его дремоту входили трескучие голоса стариков, живших за стеной.

— Достань чемодан из-под кровати, — говорила старуха.

Старик молчал.

— Мне трудно... — медленно произносил он и снова замолкал. — Ты понимаешь, мне трудно нагнуться.

— Боже мой, — думал Даня сквозь сон. — Боже мой, ему трудно нагнуться. Надо пойти, достать ему чемодан.

Но за стеной раздавалось кряхтенье, потом шуршанье выволакиваемого чемодана, щелканье замков, бормотанье старухи, перебирающей вещи. И Дане привычно думалось о старческой тяготе, о том, доживет ли он сам до таких лет, до такого медленного мучительного угасания?

Впрочем, эти мысли, отягощавшие его дремоту, вскоре уходили. Надо было вставать, ощущая томление молодого тела, набиравшего силы после болезни, идти на пляж, плавать, обсыхать на солнце и снова плавать, потом идти на базар, где седой усатый грузин в кепке-аэродроме торговал в разлив из бочки сухим красным вином. Можно было попивать винцо как хемингуэевский Джейк Барнс, умный, мужественный, все понимающий, усталый Джейк Барнс, уехавший после фиесты в Сан-Себастьян и там живущий в свое удовольствие — одиноко купающийся

на пустынном пляже, плотно обедающий в ресторане и почтывающий газеты на прохладной веранде отеля.

Не выходя из образа, Даня подходил к другому грузину и тот срезал ему на тарелку с шампура шашлык, с «каким-то развратным щегольством и для пущей азиатской простоты» собственноручно посыпая зеленью.

«Развратное щегольство» и «азиатская простота» — то уж бунинское из «Казимира Станиславовича», запомнившееся на всю жизнь — столь плотна эта проза и насыщена деталями, до мучительства выпукло оседающими в памяти.

Но Барнс был ролью, в которой жилось легко и естественно. И вот, что поражало Даню, когда он впоследствии вспоминал это лето. Конечно же, ему было понятно, что Барнс после фронтового ранения стал импотентом, не мог спать с Брет и вынужден был отдавать ее другим. Но драматизм этой ситуации, собственно, составляющей фон романа, как-то проходил мимо даниного сознания. Оставалось ощущение гордого одиночества и комфортного мужского существования.

Даня-то отнюдь не был импотентом и, в конце концов, пришлось выходить из подполья, идти «в люди». Это произошло совсем просто. Встретились знакомые девушки: «Да-аня! Давно ли ты приехал? Почему тебя нигде не видно? Пойдем с нами, у нас такая компания...» И под аккомпанемент этих восклицаний он и сам не заметил, как оказался на городском пляже в знакомой арбатской компании, где лежали кружком, голова к голове, а тела — веером, играли в карты, жарились на солнце, травили анекдоты, хохотали. И все пляжное пространство было занято такими же компаниями, также жарившимися на солнце, хохочущими, играющими в карты.

Все дальнейшее происходило по канонам love story, где банальность сюжета не отменяет его жизненности и наполненности страстями.

Красавица среди двух дурнушек.

Обмен взглядами с их знаковой системой — безмолвием вопроса-ответа, выяснения того, что десятилетия спустя назовут «химией» — «а химию ты почувствовал?»

Робкий подход, неуклюжее знакомство.

Вечер на танцах.

Ночь на улицах.

Бессоница.

Предложение.

Отъезд.

Негодование родителей, только укреплявшее решение.

Соединение в снятой на скорую руку и на одолженные деньги комнате.

Они жили долго и счастливо и умерли в один час? Ответ за кадром, в эмбриональной темноте другого еще не рожденного сюжета.

Здесь же пока только конспект, несколько строк из записной книжки, за которыми масса всего, рисуемого в «цветях и красках».

Пляж отнюдь не был для Дани полем любовных битв. Он словно со стороны видел свою худобу, сутуловатость, покатошь плеч, висящие на бедрах черные трусы.

Плавки тогда были далеко не у всех, они только входили в моду. Но на мускулистых, стройных, загорелых красавцах, расхаживающих по пляжу и уверенно кадрящих, кадрящих, кадрящих, они, конечно же, были — красные и черные, нейлоновые, плотно обтягивающие их мужское естество.

Когда они с Зарой вечером того же дня отправились на танцы (десятилетия спустя это будет называться «дискотека», а тогда — «танцверанда», но также гремела музыка через усилитель, также двигались пары, только потом они будут двигаться быстрее, ритмичнее, и все будет громче, жарче, наркотичнее), к ним подошел красавец-грузин, которого Даня видел на пляже в роскошных плавках, поигрывающим борцовскими мышцами, и пригласил Зару. Она беспомощно посмотрела на Даню, и тот отказал. Грузин угрожающе ворча отошел к своей компании, плотной враждебной массой кучковавшейся в углу веранды, что-то сказал там, и Даня почувствовал себя в фокусе враждебных взглядов.

— Понимаешь, — растерянно сказала Зара. — Он все время пристаёт ко мне на пляже... Что же нам делать?

— Ничего, — с наигранной бодростью отвечал Даня, чувствуя как все холодеет внутри. — Пробьемся.

— Подожди. Там кажется брат моей подруги со своей компанией. Я попрошу, чтобы они нас вывели отсюда.

Брат — рыжий добродушный парень, понимающе кивнул, и они вышли в веранды в кольце его ребят, провожаемые мрачными взглядами грузин, не решившимися на коллективную драку.

Но это было вечером. А днем он все косился в сторону, где в нескольких шагах сидела Зара с подругами, все посматривал на нее, не решаясь подойти.

— Что хороша? — понимающе улыбнулся парень из его компании. — Тут многие пытались. Всех отшивает. Девки ее говорят, жених есть в Москве, замуж собралась.

Господи, вот не везет, думал Даня. И подруги как два дракона, стерегущие гурию. Но как хороша. Попробовать? Да где мне?

И воспоминание пришло на подмогу, урок, преподанный на исходе отрочества в полупьяном мужском разговоре о женщинах, один из тех разговоров, что ведут иногда с мальчишками самодовольные старые дураки, а может не такие уж старые (впрочем, в те его восемнадцать любой пятидесятилетний человек ему казался стариком).

Сидели все у того же друга детства, жившего вдвоем с отцом без матери. К отцу из Питера приехал фронтовой друг — полный, тяжело дышащий, опирающийся на палку человек, женатый на известной актрисе. Сидели вчетвером на кухне за умело приготовленной мужской трапезой, помаленьку хмелея (молодым наливали по полрюмки), расковынаясь, распуская языки.

В сумбуре разговора, который вел в основном фронтовой друг, узнавалось, что этот старик пользуется вниманием молодых актрис.

Старик говорил, пришептывая ртом, где виднелись черные дыры отсутствующих зубов, втягивая мокрыми губами водку, посматривая на Даню, словно зная, что мучает его. А му-

чил первый начинающийся роман с первокурсницей Инной, это при том, что сам Даня был еще в десятом классе, и у него был соперник, тоже первокурсник, плотный вполне взрослый парень в добротном дорогом костюме (Даня ходил в курточке с широкими накладными плечами, между которыми еще беспомощнее казалась его тонкая длинная шея). Было непонятно, как, имея такого парня, Инна соглашалась долгими вечерами вытаптывать с Даней летние дышащие остывающим асфальтом тротуары. Было непонятно, как сделать первый шаг в этом так неудачно начинающемся романе — поцеловать Инну.

И знание всего этого отражалось в глубоких черных маслянистых глазах фронтального друга, впадавшего в самодовольно-исповедальный раж вплоть до заключительного пассажа своего монолога.

— Когда вы идете на свидание, вы обязательно должны думать, что вы самый красивый, умный, талантливый, самый мужественный, что другие — так, тьфу... Вы мужчина, понимаете, мужчина, это сидит в вас, и если вы так будете думать, она обязательно поймет это, заметит. В вас есть главное — интеллект! Посмотрите на меня: я старый больной человек. Но я могу втащить к себе в постель силой своего интеллекта любую двадцатилетнюю девушку.

И он стукнул по полу своей палкой — массивной тростью с монограммами.

Потом, годы спустя, со смехом вспоминая с другом детства этот монолог, они присвоят своим детородным членам имя «интеллект». «Ну, как твой интеллект?»

А тогда Даня слушал старика с сердечным сжатием. О, это волшебное мужское знание, этот дар перед которым не может устоять ни одна, ведь есть же он, есть, живет в этом отвратительном старике, не даром он женат на красавице-актрисе.

На следующий день он накачивал себя, идучи на свидание, еще слыхом не слыхав, что такое психотерапия — да-да, самый умный, самый талантливый... И плевать на всех и на вся. Он поцеловал ее на широкой теплой скамейке на бульваре, ведущем к Старой площади, поцеловал просто, спокойно, уверенно, и она не оттолкнула его.

Он накачивал себя, поднимаясь с пляжного лежака и медленно направляясь к трем девушкам, насмешливо посматривающим на него.

Опуститься на песок, лениво пересыпая его пальцами, сказать что-то незначительное, улыбнуться, пошутить, обращаясь к одной, только к одной, отъединяя его от тех двух, поболтать немного и как бы невзначай: «А может мы вечером сходим на танцы?» Она кивнула с полуулыбкой, чуть разводя руки. Это могло означать только одно — согласие.

Когда потом он спрашивал, почему она, отталкивая всех остальных, с ним согласилась пойти, Зара ответила: «В глазах было что-то свое, родное».

И был вечер, когда их выводили с танцверанды в кольцо ребят. А на следующий день решили поехать на гору Ахун.

Было такое мероприятие в курортной жизни Хосты — поездка на Ахун, что давало повод для афоризма: «Ахун ли?»

Энциклопедический словарь: «Ахун, гора на Кавказе, близ Сочи. 663 м. 30-м смотровая башня».

Смотровую башню он не запомнил. Запомнил ресторан, полупустой, с чистыми белыми скатертями, вежливыми официантами. Тень Джейка Барнса промелькнула в этом видении.

Это была его, данина, фиеста, его праздник жизни, только без барнсовской горечи, барнсовской драмы. Он, Даня, никому не должен был отдавать свою Брет, она сидела перед ним, чертовски красивая, такая красивая, что умереть можно было при мысли, что она будет его, что наступит момент, когда они лягут вместе, и она будет его. Но также, как у Хэмингуэя, немногословно и многозначительно было их перебрасыванье словами, и вино им подавали знаменитое — «Черные глаза». («Вы были в Хосте? А на Ахуне были? А «Черные глаза пили»? Его только там в ресторане подают») — И отвечать полагалось со спокойным достоинством: «Да мы были на Ахуне, и мы пили «Черные глаза».)

Джейку Барнсу и Брет подавали «Шато марго», «Риоху», а им с Зарой — «Черные глаза», вино, в котором Даня ничего особенного не находил. Также как и в «Риохе», которое он много лет

спустя пил в Испании, специально заказал в ресторане и выпил целую бутылку, как это делал Барнс («Не напивайся Джейк» — «Я не напиваюсь, Брет, я просто попиваю винцо»). Где это было — Мадрид, Сан-Себастьян, Париж? В какой невозможной запредельности? Но вот стало, на склоне лет, когда все притупилось, стало обыденным. Ну что Париж? Париж...

Дальше все развивалось по законам драматургии love story. Неожиданно потемневшее небо. Ливень, громы и молнии. Они вдруг оказались одни в опустевшем ресторане. Дождь лил и лил и конца ему не было. Они промокли, пробежав десяток метров до такси, смиренно стоящего неподалеку от ресторана. И покатило оно их, тесно прижавшихся друг к другу, вниз по мокрому асфальтовому серпантину пока шофер не произнес: «Вот и Сочи!»

— Как Сочи, как Сочи? — закричал Даня, уже понимая, что коль скоро Ахун расположен между Сочи и Хостой, то и спуститься с горы можно в разные стороны, о чем он сразу не подумал. — Нам же в Хосту надо.

— Мало ли что надо? А у меня сочинская машина, и мы только в Сочи возим.

— Так отвезите нас теперь в Хосту.

— Еще чего. В такой-то ливень. Вот вокзал, садитесь на поезд, через полчаса будете в Хосте.

И они вышли у вокзала.

Но, может быть, этот плосколицый равнодушный шофер в пропотевшей ковбойке с засученными рукавами был Амуром, Купидоном, Эросом, или одним из тех семи архангелов, которые, по мнению Агришпы Неттесгеймского, «направляют в наш нижний мир уловленные небесами влияния всех звезд и созвездий». Ведь вел же один из таких архангелов Иосифа навстречу его судьбе, когда он заблудился на своем пути к братьям. И одет он был так, как одевались тогда простые путники — в холщовую без рукавов рубашу, подобранную поясом, а на ногах — сандалии и в руках палка. Так во всяком случае его одел Томас Манн и таким он остался в воображении Дани.

Шофер — посланец судьбы — газанул, выпустил из выхлопной трубы своей «Волги» синее облачко, растворившееся в до-

ждливом воздухе, пропитанном сладким запахом магнолий и олеандров, запахом Юга, где начинались многие романы даниного поколения, и они с Зарой вошли навстречу своей судьбе в здание вокзала.

Но поезда не было и не могло быть, как вообще не могло быть никаких поездов. Ливень размыл пути, и движение прекратилось, возобновившись только под утро. И они провели ночь на тесной вокзальной скамейке зажатыми между людьми. Это была первая их ночь, проведенная вдвоем, первая из многих тысяч, которые им отпустит затем жизнь.

Конечно же, он читал стихи. Нарядная мишура гумилевских «Капитанов» и горечь мандельштамовского «Александра Герцевича», пастернаковское «Пью горечь тубероз...» и цветаевское «Мой милый, что тебе я сделала...» То, что десятилетия спустя будет распето попсой, растаскано по эстрадам, заплодировано на юбилеях, и что тогда было знаком ордена, духовной близости, тем, по чему узнавали своих. Она кивала, проговаривала знакомые строки и смотрела, смотрела на него всю ночь.

Утром, по приезде в Хосту они расстались, чтобы поспать немного, а потом пошли обедать, и тут за ресторанным столиком он сделал предложение, попросил прервать отпуск с тем, чтобы они немедленно, в тот же день уехали в Москву.

Так и вошло потом в семейную легенду: прежде чем пожениться, были знакомы три дня. Все стало легендой: грузин на танцверанде, гора Ахун с вином «Черные глаза», ливень, ночь на вокзале. Все стало романтической экспозицией жизни.

Они уехали, сообщили обо всем родителям, наткнулись на гневное неприятие отцов («Вы знакомы всего три дня, почему такая спешка, почему бы вам не отложить брак хотя бы на месяц?»), сняли с помощью Стешки комнату в подвале и поселились вместе.

Стешка встретила их как родных.

— Да-анюшка! Женился. И жена какая красавица. Имячко-то у вас интересное. У нас тут евреечка одна живет в третьем подъезде, так ее Сарой зовут. Будто похоже — Зара. Комнату вам? Да, понимаешь, Данюшка, тут вот в нашем же подвале бом-

боубежище во время войны было, там одна комната с окном, вот как у меня, — она ткнула пальцем в свое окно, за мутным стеклом которого неостановимо и бесшумно шагали по тротуару ноги. — Ее наша управдомша на себя отписала и сдавала раньше, да побоялась, стукнет кто-нибудь... Может попросить ее?

Управдомша, дебелая остроглазая баба, в сомнениях хмуро посматривала на них, стоя на пороге своей квартиры, пока Стешка соловьем разливалась, описывая достоинства и душевные качества молодой пары.

— Право, я чтой-то не знаю. Не собиралась я сдавать...

Но тут Даня проявил известную психологическую проницательность, свойственную ему в острые моменты жизни. Он вынул три заранее приготовленных красных сотенных бумажки и похрустел ими перед носом управдомши.

— Да-а, жаль, а я уж и деньги приготовил, — он с задумчивым недоумением посмотрел на новенькие красные купюры, как бы размышляя, зачем они ему сейчас. — Видно, придется в другом месте поискать...

Расчет оказался точным. Вид денег действовал на управдомшу также, как на покойного Николая вид водки, льющейся в чужое горло. Наклон стакана и запрокидывание головы включало сигнальную систему, не поддаваться требованиям которой было нельзя.

Управдомша вырвала у Дани деньги и махнула рукой.

— Ладно, живите. Степанида покажет. Вот ключ.

В комнате имелась скрипучая деревянная кровать, стол, шкаф, два стула — старые, расшатанные, покрытое патиной трущобности. Все здесь дышало сухостью, тлением старого дерева, тишиной, прерываемой пением труб, которые струились по стенам в длинном темном коридоре.

Беззвучные шаги за окном выглядели как в немом кино. Можно было забраться на высокий подоконник и приотворив форточку, («В кашне, ладонью притворясь, сквозь форточку крикну детворе...») впустить в комнату зимнюю сырость и голоса уличной жизни — скрип автомобильных тормозов, шарканье ног, обрывки слов.

Но у подвала имелась своя особая жизнь. Одна из комнат

принадлежала обществу любителей певчих птиц, и раз в неделю там проходили заседания — долгие, чадные, многолюдные, наполненные руганью и табачным дымом, вырывавшимися в приоткрытую дверь.

К Стешке, жившей за стеной, приезжал откуда-то из Подмосковья любовник-геодезист — молчаливый крупный мужик. Если шел снег и Стешка допоздна скребла тротуар, он сумрачно курил в коридоре, маясь от того, что время, предназначенное на любовные утехы, пропадает впустую.

Дальше в коридор выходили двери трех безоконных комнат, которые служили во время войны бомбоубежищем. Именно в их душную темноту исчезали после подпития и танцев пары из компаний, первое время молодоженовской жизни Дани и Зары довольно часто собиравшихся у них.

Все это было по субботам и воскресеньям. В будние же вечера Зара, оставаясь одна (Даня, готовясь к экзаменам в аспирантуру, допоздна работал в библиотеке), с тревогой ощущала подвальную тишину и отъединенность от мира. Сама она по окончании Иняза нештатно работала в Интуристе, водила по Москве экскурсии немцев, чаще гэдэровских, изредка западных, а вечерами переводила с польского прозу и поэзию.

Польский был тогда моден среди интеллигентных россиян. Фильмы Вайды, Збигнев Цыбульский и Даниэль Ольбрыхский, романтические террористы Армии Крайовой, польский художественный модерн и вообще весь вольный дух этого самого веселого барака социалистического лагеря опьянял и притягивал как замена, паллиатив Запада, некий духовный предбанник Франции, а там еще дальше вовсе какого-то зазеркального США. Опишет ли кто-либо когда-нибудь в истории общественной жизни (она же и общественной мысли) эти соблазны и надежды, эти духовные ветры незримо пронесившиеся над нашими головами?

Польский у Зары был с детства от матери — Ванды Ромуальдовны — меланхоличной пожилой дамы с тонкими чертами увядающего лица. А отца звали Лев Соломонович. Он был утиль-

сырье, но не тем замурзанным в синем халате приемщиком в палатке-вагончике, набитом тряпками, старой бумагой и прочей дрянью, которая, как все знали, оборачивалась большими деньгами, отчего за утильщиками ходила слава тайных богачей, а бухгалтером в какой-то территориальной конторе. И скорее всего не просто бухгалтером, а «советчиком, врачом», серым кардиналом утильной мафии, человеком обладавшим там некоей властью. Даня не раз слышал, как он наставлял, учил и даже приказывал по телефону, а порой заставлял в доме почтенных пожилых людей с неприметной внешностью, с которыми тесть надолго закрывался в своей комнате, куда Ванда носила чай и коньяк. Возможно, это были юридические дела — как отмазаться, кому дать взятку. А может деньги делили, вываливая из мешка на пол и подталкивая ногой — это тебе, это тебе... Почему ногой? Это чтобы в случае, если нагрянут — в руках ничего не держать — так рассказывал ему приятель, искушенный в криминальных делах. Да ведь фантазии все это данины, так свойственные ему при пылком воображении, считала Зара. Ну, конечно, отец не бедный человек. Когда она забеременела, он дал на двухкомнатную квартиру. Внуку будущему подарок. Конечно, не бедный, соглашался Даня, да где там небедный, богатый, и еще какой богатый. «Я женился на дочке богача». — «Да ну тебя, Данька»... — «Подпольного миллионера, утильного короля, Александра Ивановича Корейко» — «Перестань, Данька!»

Но, ах как крупна и лобаста была бритая тестева голова и темные очки прикрывали глаза, а взгляд, когда он дома снимал эти очки, из-под лохматых угольно черных бровей поблескивал умно, жестко, колпоче. Сидя с ним за семейным пятничным ужином и понимая из рассказов Зары, что пятничный вечер — начало субботы, царицы-субботы (свечи в старинных подсвечниках, фаршированная рыба, молитва, скороговоркой произносимая Львом Соломоновичем по-древнееврейски), Даня думал о том, как все чисто, четко, умело устроено в тестевой жизни. Двухкомнатная квартира, выгороженная из огромной коммуналки на Сретенке и обставленная старинной мебелью, вышколенная молчаливая Ванда, несмотря на свое польское происхождение виртуозно готовившая его любимые еврейские

блюда, в один и тот же час подаваемый обед, водка, настоящая на лимонных корочках, выпиваемая из серебряного лафитника, дача в Кратово, не своя, но снимаемая из года в год у опрятных стариков, расспросы о делах детей, означавшие, как понимал Даня, что при необходимости помощь будет оказана, и не только материальная... Судя по рассказам Зары, в ее поступлении в свое время в Иняз, как и в последующем устройстве в Интурист чувствовалась отцовская рука.

Откуда он такой взялся? И ведь никаких воспоминаний о прошлом (известно только что в этом прошлом были Западная Украина, Польша, и судя по всему детство в местечке), никаких ностальгических вздохов, свойственных людям его возраста.

Русский язык его вполне интеллигентен, разве что чуть прощальзовали следы еврейского акцента. Но было знание еще трех или четырех языков, в чем Даня убедился, как-то заглянув в книжный шкаф тестя, глухой красного дерева массивный шкаф, обычно запираемый (в доме все запиралось и бюро, за которым тесть вечерами сводил какие-то счета, тоже), но как-то ненадолго приоткрытый, что дало Дане возможность сунуть туда нос. Лев Соломонович усмехнулся, приоткрыл дверцы и Даня принюхался к запаху этого интеллектуального бульона. Пахло остро и сложно. Еврейская энциклопедия Брокгауза и Эфрона начала века, полный Ключевский, «Иосиф и его братья» Манна по-немецки, Пруст — по-французски, какие-то толстые старинные тома на иврите.

— На иврите-то что?

— Молитвенник, Тора, талмудические трактаты.

Тесть захлопнул дверцы, повернул ключ и подмигнул Дане. Просить почитать Ключевского тот не решился.

НИКОЛАЙ

— Что это? Боже мой, что это?
Зара перебирала пыльные связки пожелтевших бумаг, листала ломкие листы тетрадей, доставая их из чемодана, несколько лет пролежавшего у Тарбовских на антресолях.

- Что с тобой, почему ты так взволновалась?
- Нет, что это? — Она держала тетрадь двумя пальцами, брезгливо и осторожно, как держат лягушку, змею.
- Бумаги одного парня.
- Какого парня?
- Что ты кричишь? Ну, парня, с которым я учился в институте? Он иногда жил здесь, спал вот на этом диване. Это его чемодан.
- Он наверное старше тебя?
- Откуда ты знаешь?
- Я вижу по его записям. Он был взрослым во время войны.
- Да, он воевал.
- А где он сейчас?
- Повесился.
- Из-за чего?
- Это сложная история.

Они жили у родителей. Мать не вылезала с дачи, отец уехал в санаторий, и они на месяц переселились в родительскую квартиру. Ванна, телефон, налаженный быт — всего этого так не доставало им в подвале, снятом с помощью Стешки.

Даня напрочь забыл об этом николаевом чемодане, который бог весть сколько времени еще стоял бы среди всяких старых вещей, если бы Зара случайно не заглянула туда. Что, собственно, так поразило ее? Запустив руку в кучу бумаг, Даня извлек небольшую рукопись и, начав читать, уже не мог оторваться.

«Мне помнится снег, глыбы снега, завалившие двор. Он покрыл обломки полуразрушенного дома, старую рухлядь, лежавшую здесь с лета.

Я стоял, прижавшись спиной к мусорному ящику. Их было двое — сгорбленные, в шинелях с поднятыми воротниками. У одного за спиной было что-то, чего я успел рассмотреть. Лишь потом я догадался, что это катушка с телефонным проводом. Как только они скрылись за углом, я бросился в темную дыру ворот. Зацепившись ногой за провод, я упал и долго барахтался в снегу, в беспомощности от страха.

Я бежал, спиной ожидая выстрела. Сначала была ругань, немецкая лязгающая ругань. Потом выстрел. Но за мной не погнались, и я присел в развалинах за углом. В снегу я потерял шапку. Волосы, отросшие за месяцы скитаний, упали на лоб. Было жарко после бега, а руки стыли, иззябнув без рукавиц. Светила луна. Снег, покрывавший развалины, мерцал в ее свете. Искрящаяся белая дорога уходила вдаль, за город — туда, где ждала меня Катя.

Теперь только бы не нарваться на патруль. Придется опять бежать, а я не мог больше бегать и вообще уже больше ничего не мог.

Потом я шел по дороге, и полотна снега были слева и справа. Мерзла непокрытая голова, я обхватывал ее руками. Зачернели дома деревни. Дверь долго не открывали. Я стоял у закрытой ставни и негромко называл хозяина по имени. Он приоткрыл дверь, теплый, в нижнем белье, дышащий запахами немытого тела. Пропустил меня и задвинул огромный засов. Катя сидела на постели в темной холодной комнате в пальто и платке. Ниточка лунного света проникала сквозь щель ставни. Я чувствовал, что меня переполняет что-то, мешающее дышать. Я стал на колени. Она стала гладить мои мокрые волосы.

- Успокойся, родной мой.
- Я спокоен, Катюша.
- Все уже позади.

Негнуцимся пальцами я развязывал мешок. Мы ломали хлеб, черствый, кислый, ломкий как известка. Его пекли из пшеницы, собранной на полях войны. Из-за него я рисковал жизнью. Мы ели его маленькими кусочками, беззвучно жевали, сидя рядом в темноте на кровати.

Мы познакомились в колонне беженцев, в которой я очутился после побега из плена. Была глубокая осень. На заброшенных огородах мы искали картошку, пекли ее на кострах в заросших кустарником балках.

Катя вышла из осенней мглы и, присев на теплую от костра землю, протянула руки к огню. В отблесках костра я рассматривал ее круглое лицо, пряди волос, выбившиеся из-под платка, шалевый воротник пальто.

Люди вздыхали, стонали. Легкий пар поднимался от мокрой одежды. Одноглазый мужик ловко выхватывал из костра почерневшие картофелины. Днем мы проходили мимо полегшей неубранной пшеницы. В ее спутанных колосьях прятались птицы. Ветер приносил мокрые снежинки, они кружились точно мухи и таяли в воздухе. Оборванный старик ловил снежинки языком, повторяя какие-то слова. Я, наконец, расслышал их: «Белые мухи, белые мухи. Вот и дожили до белых мух». Снег таял на его бороде.

Да, мы дожили до белых мух. Мы — это были теперь я и Катя. Попутчики наши приходили и уходили, равнодушные ко всему кроме своих несчастий, но мы с Катей больше не расставались. Я узнал, что она учительница, что ушла из своего села от немецкой мобилизации.

Как бы ни было тяжело, Катя не жаловалась. Лишь по лицу ее, вдруг подтягивающемуся, по морщинкам, набегавшим у глаз, я понимал, что ей невыносимо. В такие минуты я брал ее руку, говорил всякие незначительные утешающие слова или тихонько запевал песню. Было дико петь в эти осенние вечера. Грязь чавкала под ногами. Темные облака проносились над головой, гонимые ветром. Нас окружали спины людей, сгорбившихся от несчастий. А я тихонько пел песни из довоенных кинофильмов: «Сердце тебе не хочется покоя, сердце как хорошо на свете жить...»

В ноябре выпал снег. Он сейчас же растаял, но вскоре упал окончательно, подмороженной корой покрыл дорогу. Попутчики наши незаметно разошлись, и мы остались одни на дороге. Спасла нас счастливая случайность. Я встретил однополчанина, с которым мы вместе выбирались из окружения. Он-то и приютил нас в своей деревне.

Мы жили в пустой холодной комнате, где стоял только фикус. Огромный, нелепый фикус, занимавший полкомнаты.

По утрам, когда еще темно и за окном белеет снежный бугор, нас будил скрип за перегородкой. Хозяйка месила тесто. Эти звуки были нестерпимы, как нестерпим был запах теплого хлеба и чавканье хозяина за завтраком. Потом Катя в остывающей уже печи варила нашу картошку. Мы ели ее без соли и хлеба изо дня в день.

Наконец, наступило утро, когда я решил пойти в город добывать хлеб. Мы долго думали, что нам обменять из немногих оставшихся у нас вещей. Я понес на базар катину пуховую голубенькую кофточку и мою флягу, обшитую материей — отличную флягу, сохранявшую тепло как термос.

Станный это был базар. Несколько десятков закутанных людей на заснеженной площади. Никто не предлагал продуктов, все хотели менять на продукты. Час проходил за часом. Зимнее негреющее солнце ушло за главы собора, предвечерняя синева накрыла площадь, а я все стоял, прислонившись спиной к пустому ларьку.

Временами я закрывал глаза — цветные полосы плыли в темноте, их накрывала белая пелена. Снега, окружавшие город, входили в мою темноту, холод подбирался все ближе. Сначала стыли ноги, дрожь проходила по спине, потом лицо становилось чужим, немело и, наконец, все тело охватывал непрекращающийся озноб.

Под самый вечер какой-то человек в железнодорожной шинели пообещал мне хлеб. Под шинелью у него была рубашка, на нее он напялил катину кофточку и видимо остался доволен. Он повел меня по безлюдным улицам, и мне все казалось, что обманет, не отдаст хлеб. Неожиданно он исчез в подъезде прежде, чем я успел его задержать, но вскоре вынес несколько ломтей хлеба.

В этом дворе я встретился с немцами. Оттуда я бежал, зацепившись за телефонный провод. Немецкий телефонный провод с хлорвиниловой изоляцией — красная ниточка в снегу.

В ту ночь мы ели хлеб. Мы шептались в пустой комнате, где стоял фикус. Катя говорила мне те слова, которые она никогда не повторяла потом, во всей нашей совместной жизни.

Прошло не очень-то много лет с той ночи. Недавно Катя сказала мне: «Как ты переменялся!» Она не знала меня до войны. Может быть, она выдумала меня той осенью наших скитаний. Впрочем, я действительно изменился.

Мы поселились в районном городке. Работу я нашел себе на зерноскладе. Катя устроилась в школе, и комнату мы получили в пришкольном доме. Я выпилил резные наличники на окна,

достал новый шкаф, старую, но еще прочную кровать. Матрац обил полосатым тиком, перетянул в нем пружины. Купил по случаю отличное мягкое кресло, крытое коричневым вельветом. Хорошо было сидеть в нем вечерами, наслаждаясь сытостью, покоем, близостью Кати.

Мы жили в маленьком тесном мирке, время от времени взрываемом ссорами. Одна Катя стояла над сплетнями и пересудами. Соседки поверяли ей свои тайны. Она выслушивала эти скучные запутанные истории молча, никого не осуждая.

Она поставила себя с учениками своими так, что они, семнадцатилетние ребята, обладавшие немалым для своих лет житейским опытом, не позволяли себе с ней никаких вольностей. Люди относились к ней серьезно. Иногда меня поражало в ней умение задуматься и как-то вдруг понять человека, определить в нем главное.

Особенно мы сблизились с Ниной Павловной — учительницей, катиной сослуживицей. Маленькая полная, с выпуклыми рачьими глазами и хрипловатым голосом, она напоминала своим обликом сестру моего отца, воспитавшую меня. Муж ее погиб на фронте, детей не оставил, и она прочно привязалась к нашей семье. С ней я частенько играл в шашки и понемногу выпивал.

Потом в круг наших друзей вошел Сергей Петрович.

В нашем городке не было гостиницы. Одну комнату в пришкольном здании, как раз по соседству с нашей, райисполком выделил для приезжих. Обычно люди появлялись там поздними вечерами и жили недолго. Это были заготовители, председатели дальних колхозов, сельские строители — обычный народ, наезжающий в районные города России.

Таким же порядком там появился и Сергей Петрович. Наше знакомство с ним произошло случайно. В коридоре к каблuku моего сапога прилепился листок бумаги. Я расправил его, поднес к свету.

«У нас ножики литые, гири кованые.

Мы ребята холостые, практикованные.

Пусть нас жарят и калят, размазуриков-ребят,

Мы начальству не уважим. Лучше сядем в каземат».

Обитатели гостевой комнаты не могли писать стихи, тем бо-

лее такие. И все-таки я постучал в дверь. Открыл высокий худой сутуловатый человек, в облике и манерах которого было нечто старческое и одновременно мальчишеское. Он выхватил из моей руки листок, близко поднес его к глазам и начал благодарить с неумеренной пылкостью, объясняя, что он этнограф, фольклорист, сотрудник областного дома народного творчества, собирать всякие народные песни и частушки его работа, и для него было огорчительным потерять этот листок.

Я подумал, что ему наверное одиноко в этой комнате в чужом городе и пригласил его к нам.

Как мне забыть эти вечера втроем у самовара. Сухое тепло от хорошо протопленной печи, абажурный уют, темный чай в тонких стаканах, неспешные тихие разговоры. Сергей Петрович охотно рассказывал о своей необычной работе — о собираемых им местных речениях, о свадебных и похоронных обрядах, о местных деревнях, где он вел жизнь кочевую и разнообразную — ночевал в пастушеских шалашах, чаевничал со старыми сторожами, гулял на свадьбах, выстаивал церковные службы. А уж как Катя умела слушать — с серьезным вниманием, неотрывно глядя на собеседника, с покрасневшим лицом. А я сижу в тени, подбрасываю в печку полешки, думаю о своем.

Из поездок Сергей Петрович привозил объемистые блокноты, исписанные его характерным почерком — буквы с наклоном и строка точно летит. Он запирался в соседней комнате и сидел за стеной тихо как мышь. Станным казалось это тихое целодневное сидение в комнате, да и вообще весь образ его жизни был необычен. Когда я видел его вернувшимся из поездки, в сапогах, облепленных грязью, мокрого, поблекшего от усталости, будто бы принесшего с собой холод и сырость осенних дорог, мне вспоминались наши с Катей скитания.

Приближалась зима. Однажды утром, выйдя на крыльцо, я увидел, как гуси с удивленным гоготом проламывали ледяную корку лужи. Пожухлая трава стала хрупкой и ломкой. Она шуршала под ногой, побелевшая от инея. Иней выбелил поля, черные комья зяби. Днем он таял все неохотнее. Земля подсохла, затвердела, как бы готовясь принять снег.

Наступило седьмое ноября. Городок вывесил флаги. Гром-

коговоритель на площади, не умолкая, гремел маршами и гимнами. Их звуки отдавались далеко за рекой, в пустых осенних полях. Утром были митинг и демонстрация. Секретарь райкома стоял на трибуне, специально подкрашенной к празднику. Он читал приветствие, а потом махал демонстрантам шапкой. Вместе со своими сослуживцами я прошел перед трибуной. В голубом ларьке на базаре мы выпили по первой, поздравив друг друга с праздником. Домой я вернулся немного возбужденный. Одел ватник и пошел во двор — подновить крышу сарая.

В пятом часу мы начали собираться. Я вывязывал галстук перед зеркалом, видя в мутноватом его стекле Катю. Склонив голову на бок, сидя на кровати, она расчесывала волосы. Их так много, они такие длинные, пушистые, что расчесывать после мытья — мука. На этот раз она убрала их в особую праздничную прическу — валиком вокруг головы наподобие короны. Надела бархатное платье, открывающее руки и шею. Стала похорошевшей и немного чужой.

В дверь тихо постучали. Вошел Сергей Петрович. Он собирался уехать домой, но в последний день почему-то раздумал и не пригласить его встречать праздник мы не могли.

Седьмое ноября мы всегда встречали в школе, такая уж была традиция. Директор произносит первый тост. Он сидит во главе стола вместе с женой — преподавательницей литературы. По одну сторону стола — семейные учителя с женами, по другую — молодые учительницы. Сегодня среди них посадили Сергея Петровича.

Остались в памяти лишь куски, обрывки этого вечера. Я много выпил с самого начала и потому помню не все. Помню как сидел на диване с Ниной Павловной и настраивал гитару, подтягивал колки и брал аккорды, готовясь петь. За стеной в зале надрывно хрипел патефон и слышался топот расходившихся учителей. Жар от натопленных печей стоял в комнате. Духота и тяжесть от выпитой водки придавила меня к стенке дивана. Но я хотел петь. Я скинул пиджак и мы пошли по коридору с Ниной Павловной. «Соколовский хор у Яра», — пели мы нетвердыми головами. И вдруг я увидел их. Это я отчетливо помню. Они стояли в полутемном коридоре у окна как школьники. Катя водила

пальцем по замерзшему стеклу. А Сергей Петрович что-то говорил, опустив голову. Нина Павловна крепко сжала мне руку выше локтя, и мы прошли мимо, распевая песню.

Вскоре после праздников Сергей Петрович уехал. Спустя месяц Катя поехала в областной город, навестить сестру. Я получил от нее письмо. Первое и последнее письмо, которое я получил от нее. Катя осталась с Сергеем Петровичем. В письме было много ненужных прощальных слов.

В этот день я не пошел на работу. Еще никто ничего не знал в нашем городке. Я взял ружье и ушел на охоту. Я ни разу не снял ружье с плеча, а только все шел и шел по подмерзшей земле. Шел через голый сбросивший листву лес, через березняк и осинник. Пройдя лес, я вышел на трассу линии высоковольтных передач. Ток звенел в проводах. И казалось, что весь лес звенит. Потом повалил снег. Первый снег. Он шел мягкими крупными хлопьями. Теперь мне почему-то казалось, что ток шуршит в проводах и снег ложится с шуршаньем. Облака медленно плыли над металлическими вышками.

Не было никаких мыслей о случившемся. Вспоминался лишь оборванный старик, который ловил языком снежинки и что-то бормотал себе в бороду. Я повернулся и пошел домой, навстречу всему, что меня там ожидало».

— Что, собственно, тебя поразило в этой рукописи? Рассказ как рассказ. Я догадывался, что он писал. А воспоминание об этой Кате иногда проскакивало в его пьяном бреде. Кто-то сказал, что в основе каждого таланта лежит незаживающая сердечная рана.

— Он был талантлив?

— В чем-то да, но не в этом дело. Другие бумаги, я смотрю, по-польски, и почерк не его.

— А это ты видел? Я случайно нащупала за подкладкой чемодана.

Она протянула ему старую любительскую фотографию. Николай стоял рядом с мордастым парнем. Оба были одеты в немецкую солдатскую форму, рукава подсучены, как это было принято у немцев, руки лежат на висящих на груди автоматах. Оба улыбаются, но тот весело во всю белозубую пасть,

а Николай сдержанно, как бы даже застенчиво, такой знакомой Дане улыбкой.

— Вот это да! Я даже представить себе не мог. Знал, что он в плену был и скрывал это. Но такое! Где это они?

Зара перевернула фото. На обороте было написано: «Май 1943 г. Варшава».

— Ты хоть знаешь, что было в мае сорок третьего в Варшаве?

— Откуда? Это ты ж у нас полонистка.

— Восстание в гетто. И он, похоже, умирал его. Видишь, дым на заднем плане и развалины какие-то. Они сравнивали гетто с землей.

— Ну и ну. Вот тебе и Катя, и сердечные раны...

— Все это могло быть — и Катя, и скитания по России. А остальные бумаги, действительно, не его. Это какие-то дневники и записки обитателей гетто. Он что понимал по-польски?

— Кажется, понимал. Ведь он родом с Западной Украины. Но зачем он все это возил? Почему не сжег фотографию? Риск-то какой. Он вообще-то был непредсказуемый парень

— Фотография случайно завалилась за подкладку, мог забыть о ней. А польские рукописи? Кто знает? Может писать хотел? Он же ведь у тебя писатель был.

— Писать? Палачу о жертвах?

— Кто знает? Теперь уж никто не узнает, что было в его душе?

ГЕТТО

Как-то вскоре после смерти Ванды Ромуальдовны Зара сказала: «А не поехать ли нам в Польшу?»

— Прямо вот так вот взять и поехать?

— А что? Женька пришлет приглашение. — Женька была ее институтская подруга, вышедшая замуж за поляка и уехавшая с ним в Варшаву. — Придется, конечно, через пенсионерские комиссии пройти. Но не так уж это страшно.

— Не столько страшно, сколько противно.

— Переживем. Попросят рассказать о решениях последнего

Пленума. Тебе-то это запросто. Там ведь все больше про сельское хозяйство. А Сеньку твоей маме оставим. Поехали?

Вроде бы легко, даже, пожалуй, игриво все это говорилось, а глаза у нее были какие-то встревоженные и в голосе некий напруг слышался Дане, давно уже научившемуся ощущать подтексты в разговорах жены.

— Ты в самом деле?

— В самом деле, в самом деле.

Уезжали в начале сентября. На подмосковной даче в Кратово, где жили они все лето, пыльная трава жестко шуршала под ногами, пропитанный солнцем воздух стеклянно колебался среди сосен. «Во всей европейской части страны сухо, тепло, солнечно», — сообщали метеосводки. Щегольский экспресс «Москва — Варшава — Париж» отправлялся с Белорусского вокзала дважды в сутки. Ранним вечером, в сизых сумерках кипящей людьми площади, и ночью — от пустого похолодевшего перрона.

Варшава встретила промытостью улиц и тем же стеклянным блеском бабьего лета. Они попали в центр тесного польско-русского кружка, в котором полякам — хозяевам домов еще памятливы их студенческие годы, проведенные на Моховой и Пироговке, а у русских хозяек — классическая ностальгия, неумеряемая ежегодными поездками в Москву.

Их квартиры со встроенной мебелью, с комплектом «Нового мира» за стеклом книжного шкафа, их застолья с вишневыми и протертым супом, с водкой и крохотными бутербродами, с бесконечными московскими разговорами о Вознесенском и Окуджаве, о театре на Таганке... Долгие провожания всей компанией по ночным варшавским улицам, когда пятна фонарей желтеют в листве Саксонского парка, гулко громыхает последний трамвай, смутно белеет в темноте громада Дворца культуры и науки и высится за оградой у Центрального вокзала «чертово колесо» приехавшего из Праги Луна-парка. Весь день оно медленно вращалось над городом, весь день за оградой — визг, хохот, очереди, а сейчас — застыло и стоит темной машиной, упершись в звездное небо.

Утро начиналось с цоканья каблучков за приоткрытым окном

Женькиной квартиры. Улицы снова умыты и чисты. Замша курток и нейлон рубашек, трости и зонты, свежая косметика на женских лицах. К девяти спадает уличная рабочая толчея, и улицы отдыхают до трех в солнечно истоме ранней осени.

Они слонялись по этим улицам бездумно, осязая и обоняя город, впитывая в себя его звуки, запахи и краски. Он звучал мелодией чужой речи с ее ровными вежливыми оборотами и невозможными для русского уха сочетаниями согласных. Он дышал бензином и одеколоном, винным духом желтеющей листвы. Он цвел голубовато-коричневыми стенами Стара мяста и мужественными серыми красками бетонных предместий. Он пестрел витринами, кричал рекламными и газетными заголовками, звенел трамвайными звонками.

Иногда в эту полифонию звуков, запахов и красок входила забытая щемящая нота. Где-то на перекрестке среди рекламных щитов и торговых вывесок, среди никелированного блеска экспресс-баров и мерцания свечей, горящих за окном кафе, они останавливались у мемориальной доски. «В сентябре 1944 года здесь были расстреляны двадцать участников сопротивления».

Городская подворотня с гулкой сводчатой аркой. Стена, заново облицованная серым камнем, на тротуаре — решетка, на ней букет осенних цветов.

Как их вели к этой стене, — думал Даня. Толкали, тащили или они шли сами? Как их ставили к этой стене? Как они вжимались в нее телом, ожидая залпа, как всматривались в улицу, в перспективу домов, в сентябрьское небо? Город наверное был иным — дымящимся, восставшим. И стена была иная — иссеченная пулями, с облупившейся облицовкой, рябая от обстрела...

Город был усеян этими досками, мемориальными камнями, плитами.

Вечером они видели по телевизору аплодирующую толпу. Вдоль стен живого коридора двигалась открытая машина. Высокий горбоносый седой человек, царственно улыбаясь, раскланивался направо и налево. Де Голль в Варшаве. Де Голль — на западных землях. Де Голль — в сейме. Величественные жесты, картавый французский говор. В конце длинной хорошо спретигованной речи, приподнимаясь, глядя с экрана вам

в глаза и чуть форсируя голос, говорит по-польски: «Нех жие наша кохана, вольна, шляхетна Польша!»

Конечно же, политика, официальный визит, актерство опытного государственного деятеля, но Даня видел, как увлажняются глаза у женькиного мужа.

Все, что связано с войной, с сопротивлением особо занимало Зару. Кроме восстания 1944 года, когда войска Рокоссовского стояли в заречном предместье Варшавы — Праге, словно дожидаясь пока немцы домолотят повстанцев Армии крайовой, подчинявшейся лондонскому эмигрантскому правительству, за год перед тем было еще восстание в варшавском гетто. И тогда та же Армия крайова из подполья наблюдала как несколько сотен молодых евреев, погибали в отгороженном от Варшавы стенами еврейском районе. Остатки этих людей, каким-то чудом уцелевших после восстания, Зара разыскивала с поразительным и непонятным для Дани упорством, мобилизовывала знакомых и малознакомых людей, поднимала архивы еврейского исторического института, ездила по концлагерям, превращенным в мемориальные комплексы.

Неподалеку от Варшавы они шли вдоль лесной опушки по дороге, выложенной белыми плитами, имитировавшими шпалы, и попадали на поле, усеянное серыми гранитными глыбами. На каждой стояло название города. Под этими глыбами в лесной земле лежал превращенный в пепел прах 800 тысяч людей, убитых только за то, что они родились евреями. То была Трешлинка.

Под Люблином они стояли на огромном дворе, заросшем пыльной, жесткой, осенней травой. Сюда, казалось, не доносились никакие звуки жизни. Только куковала кукушка, отсчитывая чьи-то годы. В теплую голубизну этого дня они вышли из мрака газовой камеры. То был Майданек.

Но в тот же самый день, примчавшись из Люблина в Варшаву, они отправлялись в театр «Атенеум» на изысканнейшую постановку пьесы Петера Вайса о маркизе де Саде и завершали вечер в ресторане на берегу Вислы, где оркестр исходил тягучими томительными мелодиями, а из открытого окна веяло речной свежестью.

На утро они отыскивали улицу, которая во время войны называлась аллея Шука. Там помещалось гестапо. Они шли вдоль пыточных камер и на беленой стене одиночки читали выцарапанное: «Никто обо мне не думает и не знает. Я так одинока, и я должна умереть без вины».

Данино сердце разрывалось от ужаса и сострадания. Но нет, оно не разрывалось. Оно жило, стучало. И выйдя с Зарой из подземелья, походив, покудив, посидев на скамейке парка, он снова начинал впитывать в себя окружающее с какой-то мучительной сладострастной наблюдательностью. Вот ксендз в нейлоновой сутане — сухощав, строен, значителен. Вот пожилой господин с зонтиком подмышкой целует руку девушке в замшевой куртке, начиная разговор, полный значительных улыбок и кокетливых недомолвок.

Как это совмещалось с только что прочитанным восклицанием, полным смертной тоски и безысходного одиночества? Жизнь шла в этом поразительном контрапункте. И данино сознание, вместив глубину давнего предсмертного страдания, одновременно жадно поглощало ликующую плоть сегодняшнего мира.

Такая двойственность бытия казалась ему постыдной, кощунственной, но она была реальной. Он не мог изгнать ее из себя, из своего молодого естества. И тот варшавский сентябрь так и проходил для него в двух измерениях — трагического прошлого и прекрасного земного настоящего.

Вместе с Зарой он ходил на встречи с уцелевшими повстанцами. Это происходило чаще всего в уличных кафе, где-нибудь в центре города. Один из их конфиденентов был скромный пожилой еврей, бывший кооператор, к тому времени уже пенсионер. Он сражался в одной из четырех боевых групп, сформированных в гетто коммунистами. В конце восстания они решили выйти на арийскую сторону через подземный ход. Вышли во двор жилого дома, где их схватили. В Треблинке он попал в партию наиболее крепких мужчин. Им сказали: «Вы не пойдете на мармелад». Эта людоедская шуточка означала, что их используют для работы. Отправили сначала в Майданек. Потом в Освенцим. Из Освенцима он бежал незадолго перед освобождением.

И вот этот неприметный человек, в биографии которого были все самые страшные лагеря уничтожения Второй мировой войны, сидел пред Даней в кафе «Виклина» на Маршалковской, осторожно попивая кофе, среди стен стилизованно оплетенных прутьями («Виклина» по-польски означало корзина), среди обитых красной кожей маленьких табуретов и болтовни варшавской молодежи.

Говорили по-русски. Даня спросил, как проходила у них в группе ночь перед восстанием. Он сказал, что кроме командира у них был еще и комиссар — девушка. Ее звали Ружка Розенфельд. Она подходила к каждому бойцу, спрашивая все ли он взял с собой, не забыл ли продукты, бинты, электрический фонарик? А перед рассветом сказала речь примерно такого содержания: «Помните, что вы продолжаете лучшие традиции освободительной борьбы польского пролетариата, что вы партизаны».

Даня с Зарой переглянулись. Впрочем, чего же ожидать, подумал Даня. Их собеседник был старый член партии, партийный пенсионер, к тому же он беседовал с людьми из Москвы, которых он практически не знал. Он говорил все как надо. Да и наверно так они и было. Почему бы Ружке Розенфельд не произнести речь, напоминающую выступления коммунистических комиссаров в советских пьесах и кинофильмах?

Больше всего Заре хотелось встретиться с Марком Эдельманом. Пенсионер, с которым они разговаривали в кафе на Маршалковской, был рядовым бойцом восстания, а Эдельман — заместителем командира боевой организации. Но его героическая биография с точки зрения власти имела определенные изъяны. Он был бундовцем, лидером бундовской молодежи в гетто, а после выхода по каналам на арийскую сторону и чудотворного спасения участвовал в варшавском восстании Армии крайовой. Сейчас он работал кардиологом в одной из лодзинских клиник и, говорят, крайне скупно рассказывал о прошлом да и вообще неохотно встречался с кем бы то ни было.

Встретиться с ним и в самом деле оказалось нелегко. Общие знакомые не находились. Заре приходилось искать подходы че-

рез третьих лиц, подолгу висеть на телефоне. Дома, в Лодзи его все не оказывалось. И, наконец, в ответ на сбивчивые зарины объяснения — Москва, переводчик польской литературы, интерес к восстанию в гетто — в телефонной трубке раздалось очаровательно куртуазное, с польским распевом: «Проше бардзо».

На следующий день в вечерних дождливых сумерках они шли по пригородной пустой, бульжной улице, застроенной небольшими виллами. В спичечном огне у звонка рядом с калиткой разгляделась табличка «Доктор Марк Эдельман».

В передней — пятидесятилетний, среднего роста, худой, изящный человек с резкими чертами умного семитского лица. Одет с элегантно мешковатостью — серый пуловер, белая рубашка без галстука. В гостиной — старые кожаные кресла, массивный письменный стол, тахта под пестрым пушистым покрывалом.

Разговор шел по-польски и Даня схватывал лишь отдельные слова, пытаясь понять, о чем идет речь и по этим словам и по выражению лиц говоривших. Зара явно волновалась. Глубокие черные глаза ее блистали, краска появилась на скулах, она повторяла вопросы, каждый раз извиняясь — «Пшепрашам», и все была в какую-то одну видимую только ей точку, выводя Эдельмана из состояния язвительной иронии, которая так и читалась на его лице, так и ощущалась во взмахе руки («А-а» — что, мол, тут говорить), постепенно передавая ему свое волнение и какую-то предельную серьезность, с какой говорят о предельных вопросах бытия. В середине разговора он вспыхнул, заходил по комнате, замахал руками, пустился в долгий монолог.

Это продолжалось часа два. А потом они молча брели к вокзалу по темным мокрым после дождя улицам, и Даня ни о чем не спрашивал, понимая, что надо дать Заре отойти, остыть, потом все сама расскажет.

Начала она в поезде.

— Конечно, они были просто мальчики, пылкие мальчики из партийных кружков, большей частью сионистских, хотя он бундовец...

— Это имеет значение?

— Имеет. Для Бунда не существовало Палестины, иврита, всего этого сионистского духовного антуража. Они проповедо-

вали социализм черты оседлости и предполагали строить его не в Палестине, а в тех польских, украинских и белорусских губерниях, куда история загнала евреев. Строить в рамках идишистской культуры, которую современный Израиль не приемлет. Там ведь все на библейских ценностях, на иврите. Диаспору с ее унижениями хочется забыть, мы, мол, потомки не местечковых ремесленников, а Маккавеев. Обрати внимание, все его друзья, кто уцелел после восстания, уехали в Израиль, они ведь были социалисты сионистского толка, а он, бундовец, остался. Его в Израиле не воспринимают, как всю идишистскую традицию, и здесь в Польше он для власти чужой, потому что не коммунист. Он между двух стульев.

— От этого его язвительность?

— Да тут скорее не язвительность, а некий пафос дегероизации. Он как бы хочет уменьшить масштабы восстания, численность боевой организации. Все говорят: их было пятьсот, а он: «Да нет, конечно, — двести, триста». Да и вообще, мол, какое там восстание. Были первые три дня боев. Потом спад, перестрелки, потом последняя вспышка еще на три дня и дальше — агония. А во всех источниках считается, что борьба шла почти месяц. И при этом он каждый раз добавляет: «Впрочем, это не имеет значения».

— Что не имеет значения?

— Все. Понимаешь, все не имеет значения — численность восставших, длительность обороны, героизм, самопожертвование. Все для него не имеет значения.

— Почему?

— Не знаю. Впрочем, знаю, вернее, догадываюсь. Когда шла большая депортация, а летом сорок второго, почти за год до восстания в Треблинку отправили 350 тысяч человек, он эти два месяца стоял у ворот той площади, где шла посадка в поезд, идущие в Треблинку.

— Как это стоял?

— А вот так, стоял и все. Он был санитаром в госпитале, а поскольку немцы имитировали отправку на принудительные работы, можно было изымать из колонн, идущих на эту площадь, больных. Потом их, конечно, тоже уничтожали, но в тот

момент, он имел право выхватывать из толпы отдельных людей и отправлять их в госпиталь. Таким образом, он по заданию организации спасал некоторых нужных людей. Но все равно как бы там ни было, он изо дня в день стоял у этих ворот, провожая на смерть людей. Понимаешь, он проводил на смерть 350 тысяч человек. Тут можно рехнуться.

— Он не рехнулся, но ему стало все равно?

— Ему стало все равно, как воевали, как умирали... Ему не хочется, чтобы они выглядели героями. Он вообще не приемлет этого понятия — герой. Анилевич, этот отлитый в бронзе Мордехай Анилевич (в Израиле — улицы его имени, бронзовая статуя в кибуце) в его изображении — честолюбивый мальчишка из нищей семьи. Они сделали его командиром потому, что он записал в дневнике: «Если меня не сделают командиром, пусть ничего не будет».

— Они что читали его дневник?

— Да, говорит, случайно прочли. И решили: пусть будет командиром. И еще поразившая меня деталь. Они ели вместе, жили же коммуной, и Анилевич, когда ел, закрывал руками миску. Они спрашивали: «Мордка, почему ты закрываешь руками миску?» И знаешь, что он ответил? «Я так привык, чтобы братья не отняли». Он был сыном торговки рыбой из варшавского предместья, и когда рыбу долго не брали, мать заставляла его подкрашивать краской жабры, чтобы казалось: свежая.

— А что его так возбудило в середине разговора? Помнишь? Он даже руками замахал, забегал по комнате, чего я никак от него не ожидал.

— Это когда я спросила о том, как они расстреливали евреев в гетто.

— Каких евреев?

— Ну, предателей, тех, кто сотрудничал с немцами. Они, собственно, начали свою боевую деятельность еще перед восстанием с терактов, как бы сейчас сказали, среди своих. Там ведь была своя еврейская полиция, с помощью которой немцы проводили депортацию, собирали людей, отправляли их в Трешлинку. Правда, потом они отправили туда же и этих полицейских. Но была еще и тайная полиция, агентура гестапо, ее руководи-

тель обладал огромной властью, его безумно боялись. Вообще там были какие-то фантастические личности, какой-то сюрреалистический мир... Вот, скажем, Альфред Носсиг — драматург, скульптор, один из первых сионистов, он спорил с Герцлем на сионистских конгрессах...

— Постой, сколько ж этому Носсигу лет было, когда он оказался в гетто?

— Да лет восемьдесят. И там его по приказу гестапо включили в еврейский совет — юденрат, который был своего рода правительством гетто. А он, собственно, и не скрывал своих связей с немцами, того, что пишет осведомительские доклады в гестапо. Так вот эти ребята убили его одним из первых. Пришли на квартиру и застрелили. Эдельман мне сказал, что они знали: он еще до войны был агентом абвера...

— Сионист-агент абвера?

— Да, представь себе. Я говорю: но ему же было восемьдесят, наверное, непросто застрелить восьмидесятилетнего человека. Вот тут он и возбудился. Вообще все это было безумно сложно, и он носит все это в себе. Ведь они считали себя лидерами нации, ее лучшей, наиболее активной частью. Когда в апреле 43-го начали вывозить остатки гетто, а оставлены после большой депортации были наиболее трудоспособные, то немцы уверяли, что их везут в люблинские трудовые лагеря. Им никто не верил, а это была правда. Потом и эти лагеря были уничтожены, но это год спустя. Они и восстали-то, собственно, полагая, что всех ждет Трешлинка. Ну, а потом, когда их сопротивление превратило гетто в ад, немцы выжигали улицу за улицей, и они перебежали из дома в дом, а толпы обезумевших людей спрашивали их: «Дорогие, куда? Что нам делать?» Что они могли сказать? Они пытались воевать, а потом кто смог, и Эдельман в том числе, уходили по каналам в подготовленные убежища на той стороне, а люди в гетто сгорали живьем, у них-то не было убежищ на арийской стороне. Ему приходится это носить в себе всю оставшуюся жизнь.

— Да-а, не позавидуешь. А откуда ты, собственно, столько знаешь обо всем этом... Какая-то фантастика, как в детективном романе — сионист-агент абвера, агенты гестапо.

— Кое что читала. Ну, а началось знаешь с чего? С рукописи в чемодане твоего Николая. Там помимо его рассказов были разные тексты на польском. И в том числе записки какого-то молодого еврея...

— Непонятно, как они к нему попали.

— Судя по всему он участвовал в подавлении восстания, там в основном ведь действовали украинцы, литовцы и латыши в немецкой форме. Остатки гетто прятались в подземных бункерах. Это был целый подземный мир, тысячи людей ушли под землю, рассчитывая отсидеться там. И эти вспомогательные войска, в гетто их называли аскарары, похоже, что это от турецкого — аскер — солдат, искали эти бункера, выковыривали оттуда людей, взрывали, расстреливали. Вот он, видно, и взял на память дневник этого парня, уж не знаю, для чего он таскал его столько лет, комплекс вины какой-то, трудно сказать.

— А что за парень?

— Судя по его запискам, он учился в Берлине, и хорошо знал немецкий, отчего его сделали переводчиком в юденрате, поэтому он много видел и знал. Но ни имя его неизвестно, ни судьба. Может, тот же Николай его и расстрелял.

— А где эта рукопись?

— Да у меня. Я перевела ее на русский и взяла ее с собой.

— Дашь почитать?

— Конечно.

Разговор иссяк, и они уперлись глазами в заоконную темь, прорезаемую искрами огоньков далеких польских деревень, отдавая стуку колес, сонному дыханию соседей.

В Варшаву поезд пришел в двенадцатом часу. К Женьке ехать показалось неудобно, там рано вставали, и ребенок малый был. Решили поискать гостиницу на одну ночь. Шофер такси, бывший повстанец Армии крайовой, отсидевший срок в Сибири и хорошо говоривший по-русски, проникшись к ним симпатией, возил из отеля в отель, сам пытаясь уговоривать портье, но нигде мест не было.

— Знаете что, ребята, — сказал в конце концов шофер, — отвезу ка я вас на Вислу, там на старых речных судах устраивают

что-то вроде дешевых гостиниц, но таких, знаете, совсем дешевых, куда на ночь можно придти с паненкой...

— Давай, вези, — сказал Даня. — Я как раз с паненкой.

На палубе небольшого судна четверо каких-то мрачных типов уголовного вида играли в карты под фонарем. Сдавал толстый старик в тельняшке. Шофер о чем-то поговорил с ним на варшавском аргоне, который и Зара понимала с трудом. Старик кивнул и протянул ладонь: «Пенензы». «Деньги вперед», — сказала Зара. Даня уплатил. Старик, подсвечивая себе электрическим фонариком, отвел их в крохотную, но вполне чистую каютку с двухъярусными лежаками, застеленными свежим бельем. Легли. Спать не хотелось.

— Дай почитать рукопись, — сказал Даня.

Зара пошуршала в сумке и протянула ему наверх пачку машинописных листов.

«Первым встает рабби. Я еще лежу в полусне-полуяви, почти физически ощущая спертый воздух спальни, пропитанной запахами наших немых тел, тусклый свет лампочки, болтающейся под шнуром на потолке. Рядом похрапывает Шмулик, отсыпавшийся после своих дневных подвигов. А рабби, покряхтывая, тяжело дыша, садится на койке, спускает ноги на пол и долго сидит в этой позе, оглаживая бороду, шепча молитву. Это первая молитва, произносимая еще до омовения рук, сразу же после пробуждения: «Моди ани лефанеха...» — «Благодарю тебя, владыка, живой и вечный за то, что ты по милости своей, возвратил мне душу мою. Велико твое доверие ко мне».

Потом он тяжело встает и отправляется на кухню. В приотворенную дверь я вижу, как он, держа кружку в правой руке, обливает кисть левой, потом берет кружку в левую руку и обливает правую. И так трижды. Затем умывает лицо, полощет рот и произносит вторую молитву: «Барух ата Адонай Элогейну...» — «Благословен ты, Господь, Бог наш, владыка вселенной, освятивший нас своими заповедями и давший нам повеление об омовении рук!»

Так вставал и молился мой дед и все мои предки. Таков риту-

ал, регламентирующий день еврея от утреннего пробуждения до часа, когда он вечером ляжет в постель.

А у Шмулика свой Бог. Проснувшись, он садится на койке, скрестив ноги, и подолгу рассматривает револьвер. Он чистит, и разбирает его, вертит барабан, пересчитывает патроны. Шепчет ему разные ласковые слова. Это его дружок, который никогда не подводит его, с которым ему нестрашно весь день проводить в развалинах, осторожно перебегая из дома в дом, подолгу сидеть где-нибудь на полуразрушенном лестничном марше на высоте третьего этажа, часами дожидаясь добычу. И вот мелькнет зеленый или черный немецкий мундир, вот подставится и высветится в летнем солнце спина или голова порой и без каски, можно прицелиться и — не подведи, дружок... Возвращаясь после своей дневной охоты поздним вечером и кладя револьвер под подушку, он удовлетворенно говорит: «Еще один...» Этот одинокий охотник в прежней жизни был парикмахером. Сейчас он мститель, потерявший семью — жену, дочь, родителей. Но кто ж из нас не потерял кого-нибудь из близких?

Я был потрясен, когда впервые увидел наш бункер. Расположенный глубоко под поверхностью двора, просторный — 30 квадратных метров, с трехметровой высоты потолком, со спальней и кухней, со своей динамо-машиной и трансформаторной подстанцией, с водяным насосом, электрической и угольной плитами на кухне, с продовольственным складом, набитым крупами, жирами, картофелем, сухарями, со сложной двухступенчатой системой маскировки. Войти сюда можно только через подвал, вход в который заслоняет двухтонного веса подвижная стена.

Он казался мне чудом инженерного искусства и верхом предусмотрительности.

Строительство таких бункеров развернулось сразу после большой депортации, и Бог знает, сколько денег было вложено в это строительство, какие огромные оплаченные миллионами злотых связи с арийской стороной были включены, сколько людей вложили в эти убежища свои приберегаемые на самый последний случай деньги. Мое место стоило 20 тысяч. Это почти все, что дали мне боевики за помощь в похищении кассы юденрата. Тогда, зимой мне это казалось спасением, также как

и девятерым другим членам нашей компании, строившей себе убежище.

Я, конечно, понимал, что не мы одни такие умные. Все, кто мог, опускался под землю. Я думаю, что сооружались сотни таких бункеров, а это означало, что тысячи людей надеялись отсидеться под землей. Целый подземный мир создавался.

Наши запасы продовольствия были рассчитаны на полгода. А там? Не может же это не кончиться каким-то образом? Как в романе какого-нибудь фантаста, мы уходили с поверхности этой земли, с ее чудовищной жестокостью, войной, уничтожением целого народа, уходили в свой замкнутый мирок, где можно жить размеренной жизнью, слушать радио, приносящее вести с земли, играть в шахматы, предаваться воспоминаниям и ждать, ждать, когда закончится это безумие с тем, чтобы снова выйти на божий свет не жалкими изгоями, а теми, кем мы и были раньше — уважаемыми людьми, охраняемыми законом и всем цивилизованным правопорядком.

Какими наивными мне кажутся сейчас эти мечты! Мы спустились в бункер утром 19 апреля, как только немцы вошли в гетто, и началось восстание. И весь день лежали, прислушиваясь к грохоту снарядов и автоматным очередям. Когда вечером наступила тишина, и мы решились выйти на поверхность, то, что мы увидели, было неопишимо. Весь двор был усыпан битым стеклом, обломками обгорелых досок, оконных рам, всевозможной домашней утвари. Окрестные дома горели, и было светло как днем. Уйдя обратно в бункер, мы решили не выходить на поверхность, ждать пока все не утихнет.

На следующий день стрельба и взрывы не прекращались. Один из нас, не усидевший вечером в бункере, вышел снова и принес весть, что немцы поджигают дома, даже не оказывающие никакого сопротивления. Все горит. И тогда кто-то вспомнил, что в соседнем подвале хранится несколько десятков тонн угля, принадлежавшего фабрике щеток. Если он загорится, мы изжаримся в своем бункере, как на сковородке. Началась паника. Решено было уходить, искать другой бункер. Остались только мы с рабби. Мне почему-то передан его фатализм. К тому же Шмулик, который присоединился к нам позднее,

когда его боевая группа погибла, а он уцелел и каким-то образом узнал вход в наш бункер, сказал нам, что в подвалах, где хранится уголь, имеются отверстия, и при наших двухметровых стенах пожар нам не угрожает.

Те, кто ушли, исчезли, и мы ничего о них не знаем. Скорее всего, их новый бункер немцы открыли. По рассказам того же Шмулика они пядь за пядью обследуют сгоревшие дома и подвалы, взрывают все, что кажется им подозрительным, и ищут убежища. И вот мы с рабби день за днем лежим в полумраке, тихонько переговариваясь, прислушиваясь к отголоскам немецкой речи на поверхности, стуку ломов и кирок, какому-то непонятному бряцанию металла об асфальт, чувствуя себя заживо погребенными.

В октябре 38-го, когда нас, группу евреев, высылаемых из Берлина на родину, в Польшу, собрали в полицейском участке перед отправкой на вокзал, и мы сидели в камере в тошнливом молчании, растерянные, полуодетые, некоторых взяли прямо с постели, ко мне вдруг обратился малознакомый пожилой человек. «Вот ты, — сказал он, — студент раввинской школы, изучаешь иудаизм, ты знаешь о нем больше, чем кто-нибудь из нас. Так ответь, что иудаизм может сказать нам сейчас?» Я не нашел, что ответить.

Но тот же вопрос я задал минувшей ночью рабби. Он как всегда помолчал, как бы выжидая, все ли я сказал, не спрошу ли еще что-нибудь, а потом начал своим низким хриплым голосом:

«Насколько я понимаю, ты спрашиваешь меня о том, как объяснить наличие в мире зла, как соотносится зло с существованием Бога? Это давнее противоречие. В Талмуде оно выражено в истории жизни рава Элиши бен Абуя, утратившего веру при виде страданий невинных. Он жил во времена владычества римлян. По одной версии, он стал сомневаться в справедливости и могуществе Бога, став свидетелем гибели мальчика, исполнявшего в этот момент заповедь Торы. А по другой, — увидел, как свинья тащит язык умершего мученической смертью мудреца. И тогда Элиша воскликнул: «Как! Уста, глаголившие мудрость, должны теперь лизать грязь?» Он вышел и тут же согрешил».

Рабби замолчал, не ответив на мой вопрос. Как и многие иудейские теологи, он часто не отвечал на вопрос сразу, давая еще дополнительную пищу для размышлений. А я подумал, что этот Элиша бен Абуя в сущности был далеким предшественником Ивана Карамазова, решившего, что если Бога нет или он самоустранился, то «все дозволено».

Впрочем, рабби наверняка не читал Достоевского, и более того, если бы я привел ему этот пример, он скорее всего сказал бы, что и мне следовало бы поменьше читать гойских писателей и философов, а побольше изучать Мишну и Гемарру.

Потом я вспомнил, как это противоречие сформулировал Эпикур. Бог или хочет устранить зло и не может, тогда он бессилен, что несовместно с Богом. Или может, но не хочет. Тогда он зол, что также чуждо Богу. Или не может и не хочет, тогда он бессилён и зол, а значит и не Бог. Если же он и хочет и может, откуда тогда зло и почему Бог его не устраняет?

Рабби снова заговорил, теперь он почти шептал, делая паузы между словами, и я еле разбирал слова: «Бог не может быть ни хорошим, ни плохим. Он не творит зло и не создает добро. Он не может совершить аморального поступка. Он вообще не моральное существо... Бог не определяет заранее, что один человек станет праведником, а другой злодеем. У человека должна быть свобода выбора. И Бог уважает эту свободу... Если у человека отнять возможность стать злодеем, он не станет и праведником. Ведь праведником можно стать, только если есть свобода выбрать противоположное... Всевышний не может вмешиваться. Если бы он вмешался, зло исчезло бы, но исчезла бы и возможность делать добро. Свобода и ответственность — это сущность человека, без них он не человек. Если бы исчезли добро и зло, исчез бы и сам человек... Бог хочет, чтобы человек существовал, и он дает ему свободу выбора. Используя эту свободу, человек часто выбирает не тот путь, который следовало бы. И тогда страдают невинные».

Он замолчал, и я понял, что больше говорить на эту тему с ним не следует. Да, разумеется, это проблема не столько Бога, сколько человека. И сразу же возникает соблазн, признав абсурдность Бытия и не чувствуя присутствия Бога в мире, единствен-

ной ценностью признать то, что сотворено человеком. Вне этого нет ничего кроме безразличного Космоса. И тот факт, что человек способен творить — единственное оправдание существования Вселенной. Но тут же приходится сделать следующий шаг: коль скоро нет Высшего судьи, бытие бессмысленно и только человек создает ценности, тогда кто определит, что истинно, а что ложно? Человек? Но какой человек? У разных людей разная правда. У штурбманфюрера Хефле, отправившего в Трешлинку 350 тысяч евреев, — своя правда. Правда очищения человечества от вредного племени. Он ведь не лицемерит, он искренне считает, что делает благое, нужное его стране дело. У меня — другая правда. И кто же нас рассудит, если Высшего судьи нет. А если он есть, то где он сейчас? Получается порочный круг. Невозможно искать причины нашей трагедии в грехах евреев. Эта трагедия — абсолютная несправедливость, санкционированная Богом, также как несправедливостью были «игры», затеянные с Иовом Сатаной с разрешения Бога.

И я начал вспоминать книгу Иова, мою любимую библейскую книгу. Ее метафоры... Небеса, которые Бог распростер над Иовом — «твердые, как литое зеркало». Солнечные лучи — «ресницы зари». Море при рождении подобно ребенку было закутано в пелену тумана. А как Иов говорит с Богом? «Вспомни, что жизнь моя — дуновенье... Завтра поищешь, и меня нет».

И моя жизнь дуновенье...

Воспоминание о Хефле живет во мне — в снах, на границе между сном и явью, когда думается и видится особенно выпукло и мучительно. Я видел его всего лишь час. Это было утром 22 июля 1942 года. Я сидел как обычно в своей комнате в юденрате за пишущей машинкой. Вошел курьер и сказал, что Черняков зовет меня в конференц-зал. То, что я увидел, меня поразило. За длинным столом для совещаний сидели человек восемь эсэсовских офицеров, а напротив них — несколько членов юденрата. Черняков представил меня Хефле на своем несколько тяжеловатом книжном немецком, на котором говорили интеллигентные евреи: «Это наш лучший немецкий переводчик». Хефле, приземистый, плотный, лысоватый, окинул меня безразличным взглядом и спросил, умею ли я стеногра-

фировать? Я сказал, что умею. «Все, что я буду сейчас говорить, должно быть оформлено, как приказ, и доведено до сведения жителей еврейского квартала в виде немедленно вывешенных объявлений». Он говорил с явным австрийским акцентом. Я приготовил блокнот и карандаши.

«Сегодня начинается переселение евреев из Варшавы, — начал Хефле. — Я уполномочиваю юденрата проводить эту акцию. Если она не будет проводиться в точном соответствии с нашими требованиями, я повешу вас всех вон там». Он махнул рукой в сторону открытого окна, под которым на другой стороне улицы была расположена детская площадка с рамами качелей, видимо, напомнившими ему виселицу.

Эта площадка была открыта с месяц назад в торжественной обстановке. Тот же Черняков, который сейчас сидел напротив Хефле, с каменным лицом выслушивая последний приговор тому миру, который он возглавлял больше трех лет, тогда, в июне, произносил речь о необходимости спасения детей. Он явился на торжественное открытие эдаким джентльменом — в белом костюме, белых перчатках и соломенной шляпе. А за полгода перед тем было такое же торжественное открытие сиротского приюта, на котором выступал Брандт, курировавший гетто в варшавском гестапо. Худощавый, сдержанный, затянутый в черный эсэсовский мундир, он произносил речь о необходимости делать все возможное для детей, ведь они — наше будущее. Если не останется от гетто ничего, никаких свидетельств его жизни, а только описание этой сцены: гестаповский офицер, после уничтожения трехсот пятидесяти тысяч евреев, десятки тысяч из которых не достигли и шестнадцати лет, на развалинах самого крупного в Европе еврейского поселения произносит речь на тему «Все — детям!» — то и ее будет достаточно для отображения нашего запредельного мира.

И два цвета — белое и черное. Белый костюм Чернякова, черный мундир Брандта...

А музыка, музыка... Сколько музыки было в этом мире! Вот и тогда в разгар выступления Хефле, за окном, где стояли грузовики с солдатами, сопровождавшими эсэсовский эскорт,

раздалась музыка. Солдатикам стало скучно, и они завели патефон. С моего места был виден грузовик, в кабине которого крутилась пластинка с вальсами Штрауса, и солдаты в расстегнутых по летнему жаркому времени мундирах, с подсученными рукавами, веселые белобрысые саксонские, баварские, вюртембергские парни моих лет, наверное, и берлинцы есть и стало быть я мог их видеть на улицах, в кино, на стадионе, куда я до волны антиеврейских запретов ходил болеть за мой любимый футбольный клуб.

Хефле говорил, а я писал и писал. Переселение на Восток... Пятнадцать килограммов багажа, включая все ценные вещи, украшения и золото... Шесть тысяч человек должны ежедневно доставляться на Умшлагплац, где будет происходить погрузка в вагоны... Он говорил, а я писал, и веселое и нежное вино венских вальсов кипело и пузырилось за окном. «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки венского леса», «Весенние голоса». Они и сейчас звучат в моих ушах в глухой гробовой ночи бункера.

Ночь мертва. Я знаю, что там, наверху, среди курящихся дымом развалин бродят тени тех, кто еще уцелел, пока еще уцелел. Днем они прячутся в укрытиях — подвалах, бункерах, чердаках, а ночью выходят, сбиваются в небольшие толпы, варят пищу на костерках, обмениваются новостями, но все это почти беззвучно. А исчезнувшее гетто жило, звучало, кричало голосами торговцев, рыданиями нищих — «Идн, год рахмонес!» — «Евреи, сжальтесь!», мелодиями уличных музыкантов. Бросив монетку в лежащую на земле шапку, я мог подолгу стоять в подворотне, слушая скрипичный концерт Бетховена или концерт Моцарта для кларнета, правда, без оркестрового сопровождения. А старуха, исполнявшая на арфе Дебюсси и Равеля! Я немало ходил в Берлине на симфонические концерты, но такого исполнения как на варшавских улицах не слышал. А может сказывалось мое обостренное восприятие?

На следующий день после приезда в юденрат Хефле Черняков отравился. За это время произошло следующее. К вечеру 22-го выяснилось, что еврейская полиция не в состоянии выполнить план, — собрать на Умшлагплац шесть тысяч человек. Утром

23-го в гетто ворвались отряды латышей, литовцев и украинцев, одетых в немецкую военную форму. Поливая огнем близлежащие дома, они за несколько часов до отказа набили Умшлагплац народом. А в конце дня в юденрат приехали два эсэсовских офицера. Чернякова не было. За ним послали. Состоялся какой-то разговор в кабинете. Как потом выяснилось из предсмертной записки, эсэсовцы подняли дневную норму до 10 тысяч человек. Когда они ушли, Черняков попросил принести ему стакан воды. Через полчаса проходивший по коридору служащий, открыл дверь, услышав телефонные звонки, на которые никто не отвечал. Он увидел Чернякова мертвым. На столе лежали пустой флакон от цианистого калия и прощальная записка.

Он был добр ко мне, говорил, что я напоминаю ему сына, пропавшего где-то в России. Мы часто разговаривали не по службе. Он был типичным ассимилированным евреем, «поляком моисеева вероисповедания», не отрекавшегося от своего происхождения, но глубоко внедренного в польскую культуру и общественную жизнь, где он занимал разные высокие посты, одно время даже входил в сенат Речи посполитой. При этом ему нельзя было отказать в чувствительности, даже сентиментальности, (часто говорил о детях, мог, например, распорядиться реквизировать содержимое витрин дорогих магазинов гетто и раздать пирожные и шоколад уличным детям). Я знал, что он втайне писал романтические стихи, что любимая его книга — «Дон Кихот». Знал, что по ночам он читает Пруста, и никак не мог понять, как эта холодноватая изящная проза может отвлекать его дневных забот и страхов.

Так и вижу как он едет на своем форде по улицам гетто (единственный еврей, которому разрешалось пользоваться автомобилем) или сидит у себя в кабинете — массивное крупное жесткое лицо (говорили, что он отдаленно похож на Муссолини), строгий черный костюм, белая рубашка с бабочкой, и даже широкая повязка с моголеновидом на рукаве выглядит знаком генеральского отличия. Конечно, он был честолюбив, но то было честолюбие особого рода. Как-то я спросил его, почему он не уехал в Англию или Америку, я не сомневался, что такие возможности у него имелись. Смысл ответа был при-

мерно таков. Он считает, что судьба возложила на него историческую миссию. Помочь варшавскому еврейству пережить это время, провести корабль общины через рифы военных лет, привести его к мирной жизни с минимально возможными потерями — разве это не историческая миссия?

При всем том любой немецкий унтер мог дать ему в морду. Его дважды забирали в гестапо — унижали, били, заставляли мыть уборные. Считается, что это результат интриг Ганцвайха, его антипода, соперника, Мефистофеля геттовского ада.

Вот уж кто занимал мое воображение, да и по сей день я вспоминаю о нем, думаю о том, как сложилась его судьба. О нем ходило множество легенд, но достоверно о его прошлом мало что известно. Говорили, что родом он из Галиции, что жил в Вене, а потом в Лодзи, преподавал иврит, сотрудничал в провинциальных еврейских изданиях. В Варшаву явился после прихода немцев в сопровождении целой команды таких же, как он темных личностей и вместе с ними создал тринадцатку. Их штаб-квартира располагалась на Лешно 13, отсюда и название — тринадцатка. Там размещалась целая сеть различных учреждений, названия которых — отдел по борьбе со спекуляцией, бюро контроля мер и весов, скорая помощь — служили камуфляжем для слежки, доносительства, контроля слухов и настроений. Это была тайная агентура гестапо, да, собственно, и не особенно тайная, коль скоро так много людей в гетто знали о ней. Да и сам Ганцвайх время от времени демонстрировал свое могущество. То вызволит из тюрьмы Януша Корчака, куда тот попал за отказ носить повязку, то освободит из заключения нескольких раввинов, то при создании гетто оставит в нем Сенную улицу — приют еврейской аристократии.

Он не хотел выглядеть заурядным осведомителем, хотя ходили слухи, что он еще в Вене выполнял секретные поручения австрийских нацистов, а уж в Варшаве каждую неделю ходил на аллею Шуха, давая отчеты о жизни и настроениях гетто. Он претендовал на роль общественного лидера. Собирал у себя интеллигенцию. Его так боялись, что некоторые, не смея отказать от приглашения, присылали заверенные врачом справки. Он был неплохим оратором, хорошо образован, владел ив-

ритом, идиш, немецким, польским, знал еврейскую историю, культуру, соблюдал религиозные обряды.

Я тоже как-то удостоился его приглашения. Он вообще благоволил ко мне и всячески демонстрировал доброжелательность, когда бывал в юденрате. Может быть хотел иметь шпиона при Чернякове, которого ненавидел, видя в нем конкурента.

В тот вечер в его невиданно просторной для гетто квартире собралось человек десять разного, в основном известного народа — раввины, политические деятели, писатели. Все было как до войны, разносили чай, бутерброды и даже коньяк. И только мучительные усилия людей, напрягавших все силы, чтобы остаться в границах приличий и не взять лишний кусок, напоминали о том, где мы жили. А хозяин-то, сытый, упитанный, в дорогом черном костюме, разливался соловьем, потягивая коньяк.

Гетто — благо. Оно создает условия для культурной автономии, изолирует от ассимиляторских влияний польской культуры, позволяет народу оставаться самим собой. Да, сейчас невыносимо тяжело, но ведь идет война. Надо находить общий язык с немцами. Главное — пережить войну в состоянии национальной целостности, а затем уехать за пределы Европы (чего, собственно, и добиваются немцы), сохранив культуру, традиции, религию.

Это было совсем не ново, и я угадывал аргументы, которые он обязательно приведет в доказательство спасительности такой концепции, за которой в сущности стоит простой призыв: «Сидите тихо, не прекословьте немцам, выполняйте все их требования, как бы тяжелы они ни были. Переживем трудное время и уедем себе. Куда? В Палестину? А может и не в Палестину. Собирался же Гитлер отправить нас всех на Мадагаскар. Да война помешала. А чем Мадагаскар хуже Уганды, где некогда призывали собраться отцы сионизма?».

Все бы ничего, если бы не исходили эти рассуждения от человека, который каждую неделю бегаёт на аллею Шуха, а в самом гетто прославился свирепым лихоимством. Еврейская полиция, которая берет направо и налево, по сравнению с его тринадцаткой — дети малые.

Куда ж он девался, этот геттовский Мефистофель? Перед большой депортацией исчез, потом появился на короткое время опять-таки в ореоле таинственности и могущества. Потом снова исчез. Это, пожалуй, единственный деятель гетто, о судьбе которого ничего не известно».

Утром они выпили кофе в забегаловке на Маршалковской и отправились в институт еврейской истории, где уже были раза два. Массивная резная дверь этого старинного здания, единственного как им сказали сохранившегося от гетто (до войны в нем был институт иудаики), тяжело приоткрывшись, пропустила внутрь, и они очутились в прохладных сумерках огромного вестибюля. Взгляд различал высокие стены, затянутые серым сукном, мраморную алтарную лестницу, уходящую вверх, к светящемуся прямоугольнику окна. У ее исхода настольная лампа роняла свой желтый круг, выделяя лицо старухи в сатиновом халате, сидящей в кресле за конторским столом. Сбоку на стуле примостился неприметный человек, склонившийся над большой рукописной книгой. Даня уже знал, что в таких книгах содержатся списки обитателей гетто, хранимые в архивах института. Их извлекают по просьбе людей, разыскивающих следы погибших родственников. И, стало быть этот посетитель ищет хоть какой-нибудь след человека.

Поднявшись по лестнице, Даня с Зарой углубились в простор музейных залов. Они были как всегда пусты. Иногда заходит аккуратная школьница с записной книжкой, турист с фотоаппаратом. Тогда кто-нибудь из работников института, вооружившись указкой, обводит на карте места лагерей смерти, показывает макеты подземных бункеров повстанцев, прожжавшие бидоны, в которых после войны нашли архив гетто.

Вышли в коридор, где в комнатах за закрытыми зеленой клеенкой, заваленными книгами столами сидели научные сотрудники. Пожилая женщина с короной седых волос положила перед ними большую плоскую папку. Зара суетливо развязала тесемки и начала перебирать старые фотографии. Даня сидел напротив и не видел, что она там рассматривает. Ужас, плеснувшийся в ее глазах, заставил его вскочить, обежать вокруг стола и склониться

над ее плечом. На групповом фото в окружении каких-то людей в костюмах довоенного покроя стоял тесть. Без темных очков, с шевелюрой волос, моложавый, но вполне узнаваемый.

— Ты что-то знала и искала осознанно? Из-за этого мы поехали в Польшу?

— Я скорее заподозрила, почувствовала, когда нашла в бумагах твоего Николая рукопись этого парня из гетто, где он рассказывал о геттовском дьяволе.

— Но почему ты идентифицировала его с отцом? Ведь у вас другая фамилия. Или ты знала, что когда-то он был Ганцвайхом?

— Не знала, конечно. Но что-то смутно чувствовала. Знаешь, как бывает: вроде бы слышала где-то. Это имя — Ганцвайх было мне знакомо, а откуда, как — не поймешь. Может, в раннем детстве мать обмолвилась... Не знаю. Вообще-то родители никогда при мне не говорили о прошлом. В моей метрике местом рождения записан Львов. Это как раз Галиция. А помнишь себя начала в эвакуации, в Ташкенте. Отец появился после войны, считалось, что он воевал, как и все, был военным переводчиком, знания немецкого он никогда не скрывал. Рукопись того парня во мне все перевернула... Многое сходилось, хотя и недоказуемо. В Польше я спрашивала о нем, все говорили с ужасом. Описывали внешность. Но убедить меня могло только фото. И вот оно нашлось.

— Боже мой, бедная моя девочка. Ты скажешь ему, ты же не сможешь не сказать... Как все страшно. И ведь он любит тебя. Теперь, когда матери нет, особенно любит, тебя и Сеньку. Вы ж его плоть.

— Быть дочерью дьявола...

— Да что там, все мы дьяволы дети.

В Москве телефонный разговор был вполне заурядный.

— Пап, мы дома.

— Вот и прекрасно. Как съездили?

— Да, в общем хорошо.

— Когда зайдешь? Впрочем, эти дни у меня тяжелые. Давай на будущей неделе.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЛЕОНТЬЕВ

— Хорошо.

Зара испытала облегчение. Ну, не сейчас, не завтра, пусть хоть через неделю. Непереносимость нового знания жила в ней камнем в груди, который все тяжелел.

Когда она позвонила через неделю, телефон не отвечал. Он не отвечал день за днем, а рабочего номера отец никогда ей не давал. Не было у нее и ключа от родительской квартиры. После нескольких попыток застать отца дома они с Даней вызвали милицию и взломали дверь.

Милиционер, белобрысый парень в мешковатом кителе и дворник с ломиком-фомкой в руках остались стоять у порога, а Даня с Зарой расхаживали по комнатам. Все было чисто и прибрано, как во времена, когда Ванда ждала мужа с работы к обеду. Натертый паркет, мерцанье посуды за стеклами серванта, плотно прикрытые, но не запертые вопреки обыкновению дверцы шкафов. Даня открыл книжный. Библиотека была на месте — и энциклопедия, и талмудические трактаты, и Пруст. Вспомнилось: Пруста ночами читал Черняков.

В бюро лежала пачка денег с запиской: «Внуку».

Все было ясно. Он исчез, как исчез в свое время из гетто, как исчезал, наверное, не раз в своей жизни, чтобы воплотиться где-нибудь в другом обличе.

— Он почувствовал, что я знаю.

— Каким образом? Ведь ты не слова ему не сказала по телефону.

— У него поразительная интуиция. Может, по тону ощутил. Мне иногда казалось, что он экстрасенс. Он и в детстве словно читал мои мысли. И мать его боялась. Я родилась от дьявола, только вот фамилию его настоящую не носила.

— А ты думаешь Ганцвайх его настоящая фамилия?

— Кто знает?

— Но ты носишь мою фамилию. Ты Тарбовская. И Сенька — Тарбовский.

— Думаешь, это лучше?

— Не знаю. Давай спать.

Батогово не отпускало Даню всю жизнь. В 88-м как-то бежал по институтской лестнице. Сверху крикнула секретарша Шишкина: «Вилен Николаевич вызывает!»

Шишкин как обычно меланхолично перебирал бумаги на столе. В кабинете было сумрачно и прохладно. За окном почти неслышно бежал по Садовому кольцу поток автомобилей. Даня присел, любуясь стариковской свежестью виленовских щек — творожок с Черемушкинского рынка свежайший, неземного вкуса, академические санатории, лыжи, теннис, неусыпные заботы бездетной жены. Одно слово: академик. Хотя и сельскохозяйственной академии.

Шишкин оторвался от бумаг и впери в Даню ясный, мерцающий затаенной улыбкой взор.

— Дело-то вот какое. Большереченский секретарь, выступая на совещании перед ликом Большого Егора, похвастался, что у него кооперативы свиноводов так обеспечивают личное хозяйство поросятами, что даже вывозить за пределы области можно. Большой Егор возликовал и дал указание проверить и распространить опыт.

Даня молчал.

— Что молчишь?

— А что тут говорить? Ехать что ли? Справку писать?

— А то... Только Цесарскому позвони. Через него все пойдет. И завтра же выезжай.

Даня ухмыльнулся. И на лице Шишкина появилась его обычная ласковая усмешка. Обсуждать было нечего. Это лишь в первые годы работы в отделе Даня мог позволить себе шутовски воскликнуть в ответ на такие задания: «О боги! Яду мне, яду!»

Теперь все притерпелось, притерлось. Чего уж тут «Яду!» Все расшифровывалось просто. Второму человеку страны хотелось противопоставить что-нибудь разгулу кооперативщины с ее шашлычниками, торговцами, скоробогачами, самый наглый

из которых даже по телевидению заявил, что хочет заплатить партийные взносы с заработанного миллиона... А тут дело чистое, крестьянское, трудовое. Что это трудовое, чистое дело еще не так давно называлось спекуляцией и вся стихия крестьянского рынка у того же Большого Егора, когда он был секретарем одной из сибирских областей, вызывало, как у Геббельса при слове «культура», желание схватиться за пистолет, подзабылось. Впрочем, это не меняло дела. К тому же неплохо было и съездить лишний раз в Большереченскую область, где он недавно проводил так называемые панельные обследования, отчего Зара отвечая на вопросы, куда поехал муж, говорила: «Пошел на панель».

Этот иронический цинизм был словно масло на их воспаленные души. Он создавал ощущение уюта, давая чувство завершенности, наполненности жизни. Кухонные разговоры и самиздат, политический анекдот и чтение между строк были, с одной стороны, знаками их полноценности, а с другой — принадлежности к определенному миру, вроде бы противостоящему тому партийно-советскому, официальному, чугунному, но и одновременно бывшему его непременной частью, где одно не живет без другого.

В даниной жизни эти миры соприкасались, порождая порой причудливые коллизии.

Как-то вместе с тем же Цесарским, инструктором ЦК, к которому он направлялся от Шишкина за указаниями, они писали какую-то справку. Даню время от времени привлекали в сельхозотдел для сочинения различных бумаг.

Будучи примерно одного возраста и давно знакомы еще с тех времен, когда Цесарский командовал сельхозуправлением в одной украинской области, они были на ты, но по именам отчествам. Впрочем, в моменты наиболее доверительные соскакивали и на имена — Юра, Данила... Подозрительно интеллигентское «Даня» Цесарский не воспринимал.

День был субботний, летний. Писалось лениво. Да и Цесарский выглядел измученным, мрачным.

— Случилось чего, Юрий Иванович? — участливо спросил Даня. — Что-то ты выглядишь неважно.

— Беда у меня большая, Даниил Семенович. Жена повесилась. Даню аж жаром окатило.

— Как так?

— А вот так. Депрессия. Похоже, крыша поехала. Моей вины тут нет, да и не винит меня никто. А сам все думаю, может, можно было предотвратить. Все перебираю в памяти свои вины перед ней за всю жизнь. Сын у тещи. Прихожу в пустую квартиру и места себе не нахожу...

— Так в чем дело? — Данин голос дрожал от сострадания, от невыносимости воображимой им на мгновение картины самоубийства Зары и собственного одиночества... — В чем дело? Давай поскорее закончим и — ко мне. Тем более, я один, семья на даче. Возьмем пивка в буфете. Поужинаем.

— Спасибо, Данила. С удовольствием.

— Вот и хорошо, вот и хорошо... — суетился Даня, с ужасом вдруг соображая, какую кашу он заварил этим своим приглашением. Дом полон самиздата, тамиздата. На столе — Солженицын, читанный за завтраком. На полках — Бердяев, Шестов с грифами эмигрантских издательств, какие-то диссидентские мемуары, черта-дьявола там найдешь. Ну, не может же он сказать: «Подожди, Юрий Иванович, у меня не прибрано». Не женщина же. А то, что Цесарский непременно к книжным полкам подойдет — это уж как пить дать. У самого небось рядками дефицитные собрания сочинений стоят. Как не посмотреть библиотеку хозяина дома? Да и не уберешь из этой библиотеки сразу все, что должно поразить цековца, поставить перед дилеммой: доложить — не доложить.

Но тут спасательным кругом, брошенным утопающему, прозвучало: «Впрочем, знаешь, пожалуй, сегодня не получится. Мне все же к сыну съездить надо. Давай в другой раз».

Может, ощутил что-то в данином голосе, а может, и в самом деле надо было к сыну. Но отлегло и главным стало — скрыть вспышку радости, виду не подать, какое облегчение испытываешь, что пронесло. Ведь давно же зарубил себе он на носу: не дружить с ними, не общаться семьями, не переходить черты близости, помнить: белые ходят по белым, черные по черным. Так нет — забылся, поддался чувству сострадания.

А Цесарскому недолго жить оставалось. Пару лет спустя, произойдет у него резкий рывок в карьере, станет он замом управделами ЦК и на самом излете коммунистической власти, видно, примет участие в играх, за которые потом не он один расплачивался жизнью.

Сколько толков вызвала эта волна неожиданных самоубийств цековских чиновников, сколько сюжетов обыгрывалось и разыгрывалось на телеэкране на тему «золото партии», «зомбирование» и бог знает что еще. Но ведь сиганул же Цесарский с девятого этажа своей квартиры в роскошном цековском доме. А еще несколько лет спустя на пьянке у олигарха, которому Даня стал служить, хозяин сказал, кому раньше принадлежала эта квартира. И Даня долго стоял у окна, из которого выпрыгивал Цесарский, ставя точку и в своей жизни, и в истории их отношений.

Пока же они сидели в инструкторском кабинетике Цесарского, просматривая присланные из Большереченска бумаги и перекидываясь короткими репликами.

— Ну, Батогово, Андросово... — брюзгливо говорил Даня. — Я так и думал. Там еще в двадцатые годы люди свиноматок держали и поросят продавали. Можно сказать, традиционное народное занятие. Какие тут почины, какой опыт?

— Так кооперативы же...

— Ну и что? Их теперь в кооперативы стоняют, а кооперативы поросят в колхозы будут сдавать на доращивание. Кто население снабдит?

— Ты ж сам всегда ратуешь за кооперативы, ты ж у нас прогрессист. А теперь против?

— Да не в этом дело. Не властью партийной все это надо делать...

— Ладно. Смотри сам. — Глаза у Цесарского заволоклись холодной пеленой, характерной для всех обитателей этого дома, когда разговор подходил к незримой черте... — Пиши как видишь. Я в обком позвонил. Тебя ждут.

В этом «пиши как видишь» уже проступало то начало конца, который опухнет через четыре года Цесарского ветром падения из окна, а Даню приведет в жизнь, которую он не смог бы вообразить и в фантастическом сне.

Конечно же, все это была туфта, показуха, обыкновенная политическая кампания. Сопровождать Даню поручили Леонтьеву, которого Даня знал секретарем Батотговского райкома, а теперь он был замзав сельхозотделом обкома. Поехали в Андросово, где Даня каждую собаку знал и чьи поля и перелески иногда снились ему, запечатленные памятью юности. Там по отчету был кооператив. Но, как рассказал ему Александр Дмитриевич Гурин, мужик злой и едкий, у которого Даня еще в ту свою студенческую практику стоял на квартире, когда вышло такое указание — создавать кооперативы — упростили одного одинокого дедка побыть председателем, тот сначала согласился, а потом взмолился — увольте, сил моих нет на старости лет этой хреновиной заниматься. Отпустили. Так и числится кооператив на бумаге. А свиноматок содержат, как и содержали. Только поросят теперь колхоз забирает и на доращивание в какой-то совхоз отправляет.

Гурин, похотывая рассказывал все это Дане, на всякий случай держась в отдалении от сопровождавшего его Леонтьева.

Поехали в совхоз. В грязных стойлах свиные пары справляли свадьбы — шла вольная случка. Крупный с вытянутым рылом хряк наскакивал на верещащую свинью. В маточниках поросята выскакивали в проход, бегали под ногами. Леонтьев горячо наставлял местного зоотехника — как кормить супоросных маток, допытывался, почему некастрированные хрячки бегают? Тот уныло слушал, глядя в сторону, и Даня от этой привычной картины приходил в тихое бешенство.

Вот уж признали личное хозяйство, во всех постановлениях трубят — помощь, содействие, поощрение, и тут же — отдай поросят не на рынок, а в совхоз этот затруханый, где обкомовский разумник будет наставлять унылого зоотехника. Почины, кампании... Слова, слова, слова... И свиарник кругом, на всю страну свиарник, грязный, запущенный, под стать тому, где они находились.

Цесарский, становящийся в последние годы либералом, по крайней мере, в мыслях, что, впрочем, не мешало ему неукоснительно и без всяких рассуждений выполнять предписания начальства, иногда, отвлекаясь от совместного написания

справок и отчетов, вовлекал Данию в свои грезы. Конечно же, землю надо будет отдать крестьянам, никуда от этого не уйдем. Но не жить же им парцеллярным хозяйством (о, эта марксова терминология — парцеллярным — не зря ВПШ кончал). Дальше они сами будут добровольно объединяться в сбытовые, снабженческие, кредитные кооперативы. Не нами это придумано, мировой опыт имеется, европейские и американские фермеры все кооперацией повязаны.

— Да-да, — согласно кивал Даня, поражаясь тому, что такой разговор (пусть хоть разговор, пока потаенный, интимный, но все же и бесстрашный, без многозначительной оглядки на телефон, означавшей — осторожно, слушают!) идет в этом здании. Цесарский же соловьем разливался, в пору не инструктору цековскому, а оратору на стихийных митингах, что весь день шли на Пушкинской.

А за окном от Старой площади катился автомобильный поток вниз вдоль бульвара, к Ильинским воротам, где под памятником героям Плевны, по слухам, тревожившим воображение даниной юности, в глубоком подземелье хранились энкаведешные архивы, все пытошные протоколы, все выбитые признания, стоны и хрипы тех, у кого в юности разливалась мечта о России без собственности, без «идиотизма деревенской жизни», без купцов, помещиков и фабрикантов и бог знает, какие еще клише, обозначавшие всплески той мечты, были тогда в ходу.

А потом гремела музыка Дунаевского, и шагали в бодром марше физкультурники по Красной площади... «Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река...» Пулю тебе в хайло, Боря Корнилов, поэт ты наш пролетарский.

А Цесарский все грезил при восторженном кивании Дани. И виделись им шведские и канадские выхолненные поля, упитанные коровы, неслыханные в России урожаи. А почему бы и нет? Народ наш трудолюбив и смекалист, освободить бы его от власти идеологии, дать землю, а там «эх, зеленая, сама пойдет...»

Несколько лет спустя, когда Цесарский выпрыгнет из окна, унося на тот свет свою мятущуюся душу, Даня будет примерять вымечтанные ими мерки к действительности не где-нибудь, а, конечно же, в Батогово да в Андросово, сидя в самогонном за-

столье у Александра Дмитриевича Гурина. А действительность была такова:

«Ну, что ты, Семеныч, окстись... Ну какой нормальный мужик полезет в это фермерство? Разве что юрод какой-нибудь или кто-то из районного начальства чтобы по дешевке кредиты огрести да технику на себя перевести? Посмотри, что с теми, кто поверил этой вашей московской болтовне, произошло, как бились и мыкались они, продавая последнее из нажитого, как обкрадывали их, жгли и материли, из кабинетов начальство выгоняло, как горбились они круглосуточно, а потом все по ветру шло. Да посуди ты сам, когда никакой закон не действует, а только власть наша хамская, когда деньги скачут как сумасшедшие и кредит тебе, если и дадут, то под заоблачные проценты, когда кругом злоба и зависть, какое тебе фермерство? Умный-то понимает: сиди себе тихо на своем участке, паши огород, скот корми, уворовывай, если можешь, что из колхозного добра осталось да жди лучших времен».

Сам он был умный, и так и жил, не бедствуя и не богатая.

Из Андросово Леонтьев повез Данию в Кочуново, где в студенческое лето Николай жил у Аграфены, пользуясь ее жарким постельным гостеприимством. Будучи в районе, Даня всегда заезжал к ней, а она, в свою очередь, навещала их с Зарой в Москве, оделяя деревенским салом. И к ней-то, к Аграфене, по совету председателя и решено было направиться — у кого ж еще такое хозяйство?

Машину оставили у конторы и, прихватив кроме председателя еще и бухгалтера, цепочкой потянулись по начинающему подтаивать, но еще твердому снежному насту улицы, а потом по тропинке к мосточку через ручей, где когда-то они с Николаем ловили рыбу, и вверх по склону, где на отшибе строили свои усадьбы раскулаченные еще в начале тридцатых молотки, а теперь рядом с грунинным хозяйством виднелись проплешины выморочных изб. Но дом Груни с Федором, ее вторым мужем, голубел свежей краской, положенной по вагонке, и нижние венцы сруба, начинавшие подгнивать, были заменены. Хозяин этой усадьбе достался рукастый — из тех смиренных

молчаливых мужиков, что в колхозе никуда особенно не рвутся, сторожат где-нибудь себе или кочегарят, а то на общих полевых работах, но в доме у них все в отличнейшем порядке — и скот, и огород, и сена стоят два-три здоровенных стога.

Аграфена в свои шестьдесят с хвостиком выглядела еще не старухой, а крепкой и даже особенно не погрузневшей пожилой бабой. Застали их с Федором на кухне, где они лениво ковыряли на сковороде глазки яичницы. Не признаваясь в знакомстве с Даней, Груня держала себя с начальством, как и положено, с легкой придурью и деревенской ласковостью.

— Ой, да кто ж это к нам пожаловал, — запела она, косясь на Даню хитрым глазом. — Может яишенкой вас угостить да чаем с медком?

— Какой яишенкой? — отвечал Леонтьев с грубоватым добродушием. — Давай, Груня, показывай нам свое хозяйство. Говорят, свиней держишь...

— Пойдемте, пойдемте, — суежилась хозяйка, ведя всю процессию в теплушку. — Как раз одна пороситься задумала.

В станке — просторном невысоко огороженном ящичке, устланном свежей соломой, лежала огромная пестрая хавронья.

— Ух ты, — сказал Леонтьев, склоняясь над изгородкой. — Хороша, матушка. Как зовут-то ее?

— Никитишной, — отозвалась Аграфена.

— Никитишна, Никитишна, — мурлыкал Леонтьев и забренчал кормушкой. — Ну ка, поднимайся, Никитишна.

Свинья медленно поднялась. Леонтьев осторожно ощупал, а потом сжал один из сосков. На подставленную ладонь брызнула белая струя. Леонтьев растер молоко и протянул ладонь Дане: «Видите блеск. Жиры есть. Молодец, Аграфена. Хорошо кормишь».

Никитишна, однако, не ложилась, а вдруг стала взбивать и утаптывать солому.

— Смотри ты, вроде начинается, — ахнула Груня.

Федор молча облачился в синий халат и начал вынимать из шкафчика чистые тряпки, пузырек с йодом, щипцы, ножницы, раскладывая все это добро на столе.

Свинья лежала, закрыв глаза, и по животу ее пробегали су-

дороги. Потом она начала скалить зубы, все чаще содрогаться и вот уже Аграфена принимает первого поросенка, обтирает его тряпкой, кладет на стол, застланный чистым половичком. Федор смазывает срез пуповины йодом, раскрывает поросычий рот, где виднеются крошечные молочные зубы, и, осторожно орудуя плоскогубцами, срезает их.

— Не то может соски поранить, — объясняет он Дане. — Оттого матки, бывает, и давят приплод.

Все молча наблюдают за этой процедурой. Один лишь Леонтьев радостно покрякивает: «Ах, Груня, Груня, молодцы вы с Федором».

Он вообще возбужден, и то и дело посматривает на Даню блестящими глазами и в перерыве между появлением очередного поросенка все спрашивает Аграфену — не нужна ли какая помощь в хозяйстве? Та смущенно разводит руками, возпросительно озирает присутствующих.

— Сена вроде заготовили четыре тонны... Разве соломки?

— Ну, это ты брось, Груня, — вмешивается в разговор бухгалтер, полный старик в высоких белых валенках с галошами. — Чего ж ты в свое время не брала?

— Дадим, дадим тебе соломы, — машет руками председатель.

— А усадьба-то у тебя велика ли? — допытывается Леонтьев. Аграфена смущенно признается, что в дополнение к своим тридцати соткам припахивает еще соток десять запустевшей земли умершего соседа.

— Да паши ты, паши, Аграфена! — кричит Леонтьев. — Паши на доброе здоровье.

Провожая гостей до калитки после окончания этого театра, Груня, приотстав с Даней, тихо спрашивает: «Может, сальца тебе дать с собой? Нет? Ну да сынок в Москве завезет».

Сынок, шоферивший на грузовике хозяйственный мужик, обремененный немалой семьей, строил на родительские деньги под Москвой дачу, навещаясь время от времени к Дане.

В пути, покачиваясь на мягком сидении обкомовской «Волги», медленно с включенными фарами двигавшейся по шоссе в мо-

локе вдруг надвинувшегося февральского тумана, Даня все обкатывал в уме увиденное.

То что, Леонтьев, зоотехник по образованию и опыту первоначальной работы, демонстрировал свои знания и так называемый конкретный стиль руководства, ему было ясно. И фокус с молоком, растертым на ладони, и наставления, как кормить, как доить — все это было привычно. Не он один из областного начальства разыгрывал такой театр перед московскими гостями.

Понятен был и возглас: «Паши, Аграфена!», вызвавший особенное данино раздражение. «Экий добряк выискался. Полдеревни вымерло. Такая ли она в пятидесятые была, когда молодежь хороводом с гармозой по ночной улице бродила? Попробовала бы та же Аграфена тогда припахать к своему участку хоть сотку! Распинали бы свои же, местные, да еще и кулацкое происхождение припомнили бы. А теперь: «Паши!». Раньше надо было доброту проявлять».

Впрочем, и широкий разрешительный жест обкомовца, и его многозначительное покашивание глазом в сторону Дани и председателя — вот мол мы какие либеральные... — никого не обманывал. И председатель, и Даня прекрасно понимали: будь завтра указание обрезать усадьбы под самые окна дома, тот же Леонтьев приедет проверять, сам с землемерной лентой ползать будет, демонстрируя свой конкретный стиль руководства.

Но что-то все же ломалось в этой связке отношений, в этой пирамиде власти, подтаивало, как таял снег за окном машины, съедаемый оттепельным туманом, так что островами бутрилась и чернела на полях земля.

Проведя неразлучно два дня со своим обкомовским Вергилием, Даня ощущал эти перемены в мелких на первый взгляд, но очень характерных нарушениях субординации.

Вот Леонтьев, прежде чем уехать с Даней в район, совершая утренний обзвон, с привычной властностью кидает в трубку начальнику передвижной механизированной колонны: «Чтоб в час был на объекте, я подъеду, все сразу же с колхозом и решим». Даня не слышит ответа, но догадывается, что этот мелкий начальник в сущности посылает Леонтьева подальше. «Как это пусть они к тебе приедут? Ты что в своем уме? Я ска-

зал...» — кричит Леонтьев. Но тому, видно, до фонаря и этот крик, и эти приказы. И Леонтьев, поорав в трубку, с некоторой растерянностью завершает разговор: «Ну, хорошо, значит, в четыре они будут у тебя».

Да и в обком уже никто не бежит ни по вызовам, ни сами по себе. Ему поручили собрать совещание по поводу приезда председателей областных агропромов, опыт что ли какой-то перенимать. Надо буклеты напечатать, программу разработать, прием организовать... И кому он ни позвонит — все кобелятся, отнекиваются. Финансист областной заявляет, что не знает, по какой статье проводить расходы. Всю жизнь знал, а теперь вот не знает. Агропромовские начальники отговариваются занятостью, у них своя коллегия, готовиться надо.

— Да вы что, ребята, — с тоской в глазах, кричит Леонтьев в трубку. — Это ж ваши гости! Ты что, малый?

А «малый» нет, чтобы как в прежние времена бодренько откликаться на каждый начальственный чих, тянет волюнку, за которой просматривается явственное: «А не пошли бы вы все подальше? Мы этих гостей не приглашали, вы приглашали, вы и принимайте».

Леонтьев вытирает пот со лба, кивает Дане, чтобы подождет, и бежит к начальству. Караул, все сыпется, все валится, все рычаги уходят из рук. Что делать? И это классическое либеральное вопрошание становится возгласом, воплем власти, терпящей почву под ногами.

И в поездке их то же самое. Сообщили, когда приедут в колхоз за полсотни километров от Большереченска, наказали председателю, чтобы ждал и обязательно сам рассказал о своем кооперативе, а он смылся и никого вместо себя не оставил, так что тетки из бухгалтерии, перед которыми распаялся Леонтьев, опускали глаза, пряча улыбку при виде начальственного гнева. И потом уж в райкоме оскорбленный обкомовец выговаривал секретарю:

— А председателя, этого говнючка, видно, надо на жопу сажать. Ты меня понял?

— Разберемся, — лениво отвечивал секретарь.

Но как колоритен был этот давний данин знакомец Кирилл Афанасьевич Леонтьев, как наострился он в начальственной науке, как сочен его говор, как вельможен его демократизм — то матюшком пошлет, то «голубушкой» мужика назовет, то «малым», то с имени отчества на уменьшительно ласкательное имя перейдет и постоянно переспрашивает: «Ты меня понял?» Все словечки издавна отработанные, привычные вехи разговора, где осторожность сочетается с раскованностью, а четкость в отношениях с высшими с явственно проступающей привычкой к самостоятельной работе — до обкома был первым секретарем райкома, должность зама для него маловата, видно, карьера не очень-то задается.

С секретарями райкомов он по именам — Витя, Валера — они уже из более молодого поколения. Обзванивая их по утрам, мягко журит: «Что-то ты отстал по случке коров... Надо подтянуться», «Меньше стал доить, подтянись».

Когда проезжали по району, где он секретарствовал, расчувствовался, узнавал проходящих людей, вспоминал: «Сколько ж я коньяку выпил, чтобы этот мост построить. И сейчас вот едем и приятно, не зря старался...»

Он и сейчас не зря старался, да только все плыло и плыло из-под рук.

ГУРИН

Летом 92-го пришлось везти в Батогово американского коллегу, через которого в институт поступил довольно щедрый международный грант. Естественно, принимали американца с теплотой, градус которой измерялся несколькими десятками тысяч долларов этого гранта, и все желания гостя выполнялись неукоснительно. А было среди этих желаний и такое — посетить настоящий, не показушный сельский район. Даня позвонил Леонтьеву, который на излете Советской власти сумел вернуться в Батогово первым секретарем, а теперь был главой администрации. Тот особого энтузиазма по поводу приезда иностранца не проявил, но отказать Дане не мог.

Американец — пожилой, худощавый, румяный профессор — готовился к поездке как к серьезной и опасной экспедиции. На вокзал он явился с объемистым багажом, в котором были не только продукты, приобретенные в валютном магазине, но и даже питьевая вода в больших пластиковых бутылках.

Потом, в купе немытого проплеванного поезда, в спотыкающемся, при далеко не лучшем данином английском, разговоре узналось, что американец боится подцепить дизентерию, а то и холеру. Страх этот у него остался с молодых лет, когда он со студенческой группой в сопровождении интуристовского гида, путешествовал по России. И все было о кей, но вот вокзальные туалеты... Профессор развел руками и на его румянном лице отобразился ужас. Даня подумал, что вагон, в котором они ехали, вряд ли мог по этой части успокоить его нервного спутника.

Они вообще видели все, что их окружало, не просто по своему, а скорее даже полярно. То, что для одного было предметом интереса или волнения, оставляло другого равнодушным. И наоборот, то, что у одного вызывало недоумение или испуг, другому казалось естественным и привычным. Такую полярность восприятия Даня относил за счет наивности американца, полного незнания им российской действительности. Сам же он виделся себе эдаким умудренным жизнью, всезнающим стариком, путешествующим с чистым ребенком. Но временами ему казалось, что это именно у него большое противоестественное восприятие России, а у спутника — реакция здорового полноценного человека.

Они анализировали показатели района, на взгляд Дани вполне нормальные, средние для региона. Но американец воздевал к небу руки, не понимая, какой смысл при таких надоях, привесах и урожайности вести хозяйство. Вместе с тем, когда приехали к Володе Мельниченко — фермеру, первому и единственному в ту пору на все село, американец никак не мог понять радостного оживления Дани. Фермер был с его точки зрения как фермер, довольно бедный — десяток быков на откорме, небольшое овощное поле, старый трактор со скудным шлейфом прицепных орудий. Естественно, ни в какое сравнение с оклахомскими или калифорнийскими мужиками он

идти не мог, но это как раз не удивляло профессора — страна только возвращается к частной собственности на средства производства.

Даня же был у Мельниченко еще в прошлый свой приезд, тогда он считался, правда, не фермером, а арендатором — взял вместе с двумя соседями в колхозе в аренду бычков на откорм и землю, да только дело шло трудно. Помнится, они разговаривали в его коровнике на окраине села. Тусклые фонари освещали длинные деревянные корыта, от которых остро и свежо пахло силосом. Где-то мерно капала вода, и под этот усыпляющий аккомпанемент володин рассказ звучал размеренно спокойно, так что о драматизме его жизни можно было только догадываться.

Село его затею не принимало, он все дворы обегал, предлагая идти к нему в звено. Все только отмахивались: «Какая самостоятельность? О чем ты? Кто даст? Захотят перепахать ваше поле, за милую душу перепашут. Да ведь и так жить можно». Насилу уговорил двух мужиков. Скот им дали истощенный, коровник пришлось ремонтировать — менять полы, крышу утеплять. На складе колхозном гвоздя ржавого не найдешь. Сломался трактор — за любую деталь расплачивайся личными водочными талонами. Под зерновые выделители запущенное заболоченное урочище. Горбились сутками. Все-таки запас кормов создать сумели, пошли привесы, начали расплачиваться с долгами. И по селу — разговоры: «Обогатились мужики, многие тысячи гребут».

— Да бог с ними, с этими разговорами, — сказал Даня.

— Бог-то бог, да ведь все может быть.

— Что, сожгут? — понижая голос спросил Даня.

— Могут, — печально кивнул Володя, оглаживая рукой стог сена, у которого они стояли. — Сунут спичку и все дела.

Теперь он был фермером, никак не зависящим от колхоза, вольным казаком, князем во князьях, но печали в его голосе не убавилось.

Тем не менее Даня расспрашивал о делах, которые у Мельниченко шли неплохо, с неким победительным чувством, причины которого не мог да и не хотел объяснять американцу.

Невозможно было объяснить и подоплеку происходящих в районе событий, о которых они говорили с Александром

Дмитриевичем Гуриным, вечным даниным советчиком и толкователем районных дел.

Ах, умный мужик был Александр Дмитриевич, умный, проницательный и язвительный в оценках людей. Жил он на старости лет один, легко переносил свое вдовство и одиночество (дети давно разъехались по стране), умело вел хозяйство, похудел, согнулся, но глаза также остро поблескивали из-под нависших бровей. За длинную свою жизнь, он много кем побывал — и бригадиром, и председателем сельсовета, потом ушел в сторожа, а теперь, достигнув пенсионного возраста, жил себе спокойно, сохранив любопытство и знание жизни, много читал, все знал, выписывал кучу газет и журналов, и видел в Дане редкого для него теперь собеседника, приезду которого всегда искренне радовался.

Вот и теперь они сидели за богато накрытым столом, предвкушая не только хорошую выпивку, но и разговор душевный о том, что творилось вокруг. Гурин сперва покашивался на американца, но потом успокоился. Даня напомнил ему, что узнать тот может только то, что он ему переведет, а переводить-то особенно нечего, так как по иностранному разумению в их разговоре ничего понять невозможно.

— Вот и хорошо, — сказал Гурин. — Но пусть хоть поест что-нибудь. А то, что ж, сидит, чай из своих пакетиков пьет, как-то не хорошо это, не по-нашему. Может сало попробует? Оно у меня нынче отменное. Ты чего смеешься?

Сало это был отдельный сюжет. Еще в поезде американец обратил внимание на неизвестный ему продукт, который ели соседи по вагону. Даня не знал, как по-английски «сало». И попытался популярно, как ему показалось, объяснить способ изготовления этого продукта. Берут свинью, убивают, сдирают жир, солят, шпигуют чесноком, замораживают и едят.

— Сырым? — испуганно переспросил американец.

— Сырым, но замороженным.

— Бог мой! Я и не представлял себе, что такое можно есть.

— Ну, ты уж больно натурально ему разобъяснил, — улыбнулся Гурин. — Убивают, сдирают, замораживают. Прямо, мы как дикари какие-то. Да бог с ним, пусть ест, что хочет... Давай

выпьем моей настоечки, и я тебе расскажу, что тут у нас было в твоё отсутствие.

А рассказывать было много чего. Началось все с возвращения Леонтьева, который, понимая, что власть уплывает из обкомовских рук, решил, видно, пересидеть это смутное время в родном районе, куда и устроил себе назначение первым секретарем.

— Ладно, — распевно, в тоне сказа говорил Гурин. — Секретарствует себе помаленьку. Подобрал вожжи, начал их натягивать помаленьку. И вдруг на районном активе выступает, кто бы ты думал...

— Кто? Говори, не томи.

— Фоменко, директор элеватора.

— Фоменко, этот тихарь?

— Этот тихарь... В тихом омуте черти водятся. Да не просто выступает, а врзает первому секретарю, да что там первому секретарю, всей власти партийной, по первое число. Командные методы, администрирование, отрыв от народа, угодничество перед начальством. А про Леонтьева знаешь, что сказал? Леонтьев это ж типичный партийный работник, а для партийного работника, что самое главное — хорошо принять начальство и хорошо проводить. Прямо как с цепи сорвался. Его после этого актива не пустили на партийную конференцию, так он знаешь, чего сделал? Вывел делегатов на улицу и устроил митинг. И знаешь, как его слушают — муха не пролетит. Я как раз был тогда в Батогово, так тоже заслушался. Он ведь какой-то другой стал — откуда что берется, напористость, слова такие находит, и все в одну точку — власть, власть, она такая сякая, бессовестная, антинародная. Прямо мороз по коже подирает и будто хмель тебя охватывает — надо ж, дожили, всю правду человек режет и ничего, вот ведь времена.

Гурин глотнул из стакана, помахал ладонью у рта, отдышался...

— Ну-ну, что дальше? — торопил его Даня.

— А что дальше. Дали ему строгача на бюро за оскорбление первого секретаря. А он, говорят, вышел и поклялся, что свалит Леонтьева. И ведь свалил.

— Как?

— Разоблачать начал. Взял вещь вроде бы привычную — политические культуры. Знаешь, ведь у нас вечно какая-нибудь игрушка. Когда-то кукуруза была, все ее заставляли сеять. Теперь рапс навязывают. Говорят, из него масло хорошее делают, откуда-то из Китая к нам пришел. Как обычно — кампания, научно-производственная система, семинары, указания. И в конце года всему руководству — премия. Ну, премия и премия, эка невидаль. Так он-то, Фоменко, доказал, что от этой системы колхозам ни тепло, ни холодно и что Леонтьев свою премию зря получил. Но не просто доказал, а статью в районку написал, и та ее напечатала. Потом взялся за баню. Построили ее при доме двухквартирном, в котором Леонтьев да предрика живут. Ну, сам знаешь, какая у нас в Батогово баня общественная — то горячей воды нет, то сток засорился, и тесна для она для райцентра. А тут лично начальству строят за коммунхозовские деньги. И опять — статья в газете. Короче говоря, подошли выборы в областной совет и Леонтьева туда не избрали. Всегда первый секретарь — депутат облсовета, так уж ему положено. А тут не избрали. Ушел. Правда, недалеко. Предрика стал. Он ведь хитрый, Леонтьев. Понял, что партийная власть кончается, а райисполком останется. Какая-то власть должна быть. Но Фоменко и тут его не оставил. Уж как они только не лаялись? А однажды разругались в леонтьевском кабинете и Фоменко говорит: «А что с тобой толковать, ты ж пьяный». Леонтьев, возможно, и был слегка поддатый, может, принял за обедом грамм двести. У них же, у начальства сам знаешь, то один гость из области, то другой, без рюмки не обойдешься. Но ведь Фоменко побегал в милицию, в поликлинику и, можешь себе представить, в кабинет предрика является вместе с ним милиционер и врач и проверяют не кого-нибудь, а второе лицо в районе на предмет опьянения. Проверяют и фиксируют, что, дескать, пьяный. Во-от какая власть была у Фоменко. Его и в области боялись. Когда райком обратился в управление хлебопродуктов, снимите, мол, его с работы, не нужен он нам такой. Тот начальник отвечает: «Не можем. Работает хорошо. Вам не нужен, нам нужен». Такие вот дела.

Американец безучастно пил свой чай, уморившись от скитаний по селам, от всех этих русских дел, которыми его пичкал

Даня. Гурин, пощелкав кнопками телевизора, отыскал программу CNN и гость пересел поближе к экрану, углубившись в передаваемые на английском мировые новости. Так что дальнейший рассказ Гурина шел под аккомпанемент сообщений о природных катастрофах, террористических актах, биржевых скандалах и прочих сюжетах современного мира.

— Ну да ладно, — продолжал Гурин. — Слушай дальше. Леонтьев тоже ведь не пальцем деланный. Он сразу же бросается в машину, мчится в Большереченск и оттуда привозит справку об отсутствии опьянения. Собирается бюро райкома и исключает Фоменко из партии за действия — так вот, говорят, там было сказано, весь район это повторял, — за действия, порочащие звание коммуниста по отношению к Леонтьеву. А Фоменко на бюро заявляет: «Что вы делаете. Вам же восстанавливать придется». И представь себе, обком его вскоре восстановил. А он, какой фортель выкидывает дальше: мне, говорит, важно было свою правоту доказать, а в партии я больше не нуждаюсь. И кладет свой билет на стол, да не один, а вместе со всей парторганизацией своего элеватора. Коллективно, так сказать, выходим.

— Что за игры, — поморщился Даня.

— Игры-то игры. А подошли выборы председателя райсовета, такая должность у нас тогда появилась, он выставил свою кандидатуру и прошел почти единогласно. Должность не освобожденная, но почетная — проводит сессии, сидит в президиуме, население принимает, и такой, понимаешь ты, обходительный, доступный, в любую просьбу вникает, помочь старается. Все при нем. Вроде бы как президент района. Но Фоменко-то президент, а премьер-министр — Леонтьев. Он ведь председатель райисполкома. Он и совещания с председателями колхозов проводит, накачки, хотя не такие жесткие, как раньше дает, а все же — надои, привесы, планы, сводки. Конкретный стиль руководства, а не ля-ля всякие, которые Фоменко разводит. И тут наш диссидент, понимаешь ли, просчитался. Забыл он, что власть не дают, ее берут. Это большевики еще в семнадцатом понимали. И в этом Леонтьев его переиграл. Он больше не ругался с Фоменко, вежливый с ним был, внимание ему оказывал — как же, председатель райсовета, народный избранник, да только

вожжи-то подбирал и все делал по-своему. А уж для председателей наших и других начальников он просто-таки свой человек, а Фоменко для них — болтун и демагог. И вообще фигура декоративная. К критическим его выстрелам все привыкли, к обещаниям все изменить — тоже. А сделать-то он ничего не может. Так, для мебели существует. Вот и ушел он в отставку. А Леонтьева вскоре избрали главой районной администрации. Как был он первым лицом района, когда секретарствовал, так и остался.

— Выходит все пришло на круги своя?

— Так да не так. Планы колхозам пока сохранились. Но Леонтьев все же не может, как прежде снять председателя, крикнуть: «Билет на стол». Никаких билетов нет, да и партии нет.

— А что есть?

— А есть председательская привычка подчиняться власти и охранять ее, ведь председатель сам часть этой власти. К тому же и существовать без нее пока он не может. Ведь как он не жалуется на нехватку всего, кое-что поступает от государства по твердым ценам. А выйди он из повиновения, ему тут же перекроют кислород. Под кислородом я понимаю всякие ресурсы — бензин, электроэнергию, удобрения, технику. Власть она как была, так и осталась — рас-пре-де-ли-тель-ной, — Гурин по складам, скандируя произнес это слово.

— Но ведь рынок все же формируется.

— Он ведь этот рынок пока какой-то стихийный, дикий. Знаешь, сколько стоят «Жигули» у нас в районе? Пятьдесят тонн мяса, это сотня здоровых бычков. Я тут с Колькой Чугуновым разговорился, председателем нашим, я с его отцом в школе на одной парте сидел. Так вот он знаешь, чем занимается? Гречку меняет на трубы, мясо на кирпич.

— Это бартер называется.

— Пусть бартер. Налоги-то платить не надо. Государство как бы не при чем.

— Подожди, подожди. Будет оно еще ой как при чем.

— Что ж, подождем. Ждать да догонять — такое наше дело.

На этих шуточках и прибауточках закончился их разговор. Гурин предложил оставаться ночевать. Даня не без сожаления оглядел дом, Все было, как и в те далекие времена, когда город-

ским юнцом, познающим деревню, выслушивал он наставления Гурина. «Послушай ка ты, беззаботник, про нашу крестьянскую жизнь». Только сиживали да ужинали они тогда не в зале, как сейчас, а в кухне с русской печью и газовой плитой, она и сейчас имелась там для скорой и небольшой готовки. И в зале, как и тогда, был гарнитур полированной, вполне городской мебели — диван-кровать, сервант с рюмками и чайным сервизом, круглый стол, за которым они пировали, тканый ковер и фотографии родни на стене. За дощатой перегородкой у печи-голландки скрывались две маленьких безоконных спальни, где Гурин и предлагал им располагаться. Но Даня решил, что американцу в такой каморке спать будет непривычно, лучше уж в гостевом домике в Батогово.

ФОМЕНКО

С Фоменко Даня познакомился много лет назад. Они случайно оказались в пустой воскресный вечер в областном центре, куда Даня приехал в очередную свою командировку из Москвы, а Семен — из района. На правах давних, хотя и не особенно близких знакомых сошлись в гостиничном ресторане, поужинали, хорошо выпили и отправились погулять. Дойдя до реки, присели у причала на теплые еще от летнего солнца камни у самого среза воды. Заговорили о недавно умершем начальнике областного управления хлебопродуктов Иване Гориглазе, друге и начальнике Семена. Вот тут-то и начался записанный Даней в тот же вечер разговор, а вернее монолог фоменковский о жизни и смерти.

«Да, Гориглаз умер. Можно сказать, у меня на руках. Вместе мы в командировку отправились. Потом в управлении меня спрашивали — как это было? А было очень просто. Пришли мы в номер. Ужинать Иван отказался, да и я был не голоден. Чаю заварили, рыбка имелась домашняя, пирог. Закусили. Он телевизор включил, пижаму одел, в кресло сел. Располнел за последние годы. Сидит, смотрит, лысину потирает. Мы с одного года,

но я все больше седею, а он лысеет, сзади венчик один остался. Прилег я на кровать, закурил, тоже в экран глазами уперся — чушь какую-то передавали, комедия не комедия, треп без всякого смысла. Вдруг смотрю: затылок у него наливаются, краснеет. Дернулся Иван, обмяк. Пока я заорал, подскочил — он уже готов.

«Скорая» быстро приехала, но все же полчаса прошло. Врач сердце послушал, веки завернул. Документы спросил. Я еще что-то про реанимацию толковал, а он рукой махнул: «Домой сообщите. С нами вам ехать нечего. Завтра утром приходите, оформлять будем».

Унесли Ивана. Коридорная перекрестилась: «Бог легкой смерти дал. Не мучился». Ушла.

Пока вся эта суета стояла, я как в тумане был. А как один остался, такая пустота пришла и ясность, аж до рези в глазах. Все отступило, один этот номер гостиничный остался, пустой, звенящий, желтый. И каждый предмет будто кричит — шкаф, стол, портфель его на стуле. Сама тишина кричит: «Сделать что-то надо, немедленно сделать!» А что сделать? Пошел в ванную, умылся. В зеркало на себя гляжу. Лицо помятое, волосы седые, всклокоченные. Мне мои сорок три вообще-то не дают, всегда больше, а сейчас и под шестьдесят прикинешь. Коньяк у нас от вчерашнего оставался. Глотнул, не зажевывая. Как вода. Еще глотнул. Лег. Плышет кровать, уносит куда-то, то ли в сон, то ли в явь.

Иван видится. Как сидит он в августе, в самый сезон заготовок, у себя в кабинете, когда ему до часу дня, пока сводка в обком не сдана, отлучиться никуда нельзя. Трубки у каждого уха, селектор огнями горит, сам распаренный, красный. Кивнешь через порог да уйдешь — без него как-нибудь решу свои вопросы, с него-то сейчас что возьмешь, и так народ рядком сидит, прямо в глаза ему впивается.

И вот, в сентябре, когда отпустило, он говорит: «Поехали вдвоем в соседнюю область опытом обмениваться, кстати, и передохнем малость». Вот и передохнули... Мы с ним всю жизнь локоть к локтю шли, в техникуме вместе, элеваторами командовали, потом я в соседнюю область уехал на крупное хозяйство. А Иван здесь, в Большереченске начальником областного

управления хлебопродуктов стал, и когда у меня в семидесятом ЧП случилось, он меня из него и выволакивал.

В тот год для меня первый звонок прозвонил — микроинфаркт. Когда выписывался из больницы, врачиха посмотрела историю болезни и успокоить, видно, решила: «Еще не вечер, конечно, — говорит. — Вам тридцать семь. Болезни ваши пока все в начале, но должна вас предупредить: по сумме очков, так сказать, по изношенности сердца и другим показателям вы опережаете свой возраст лет на десять. Такое состояние бывает у людей под пятьдесят. Учтите».

Учел. На лыжах зимой поехал. Дважды. Курить бросил. На месяц. Вот и весь учет. Да что там считать оставшееся. Одно то лето семидесятого отхватило от моей жизни годов пять, если не больше.

Погода стояла ну просто на заказ. Весной подождило, в июне же то намочит, то высушит. Хлеба вымахали, налились. В июле инспектор приехал из Министерства заготовок. Поехали мы с ним по полям, пошелушили колосья.. Зерно крупное, ровное, вот-вот убирать.

— Центнеров на тридцать пять будет, — говорю.

— Тревожишься? — спрашивает.

— А как не тревожиться? Мы тут подсчитали, если хотя бы по тридцать три выйдет на круг, и то не хватит емкостей. У меня четырнадцать хозяйств из пяти районов прикреплены. Их зерно при таком урожае и то на открытые площадки класть придется. А если еще колхоза четыре прикинут, куда ж я его дену? Брезент выпрашивал, так дали совсем ерунду.

— Ничего, не тоскуй. Подержишь неделю — заберут излишки.

— Куда?

— Найдем куда. Страна велика.

Уехал инспектор. Ему что. Справку написал, доложил в главке. Ему не отвечать — на мне все. Принять и сохранить любой ценой.

С конца июля пошло. Ни дождя, ни ветра — колос сухой, ровный. Прямым комбайнированием брали, из бункера — в кузов машины и на ток. По тридцать семь кое-где собирали. На первых порах мы радовались: сушить не надо, чуть очи-

стишь, пропустишь через рабочую башню — и в силоса. Гоняй его потом зимой, не давай залеживаться. Элеватор забили, в склады заложили, все резервные емкости полны, а хлеб идет, просто валит. Графики суточные смешались, хвосты машин у ворот, на землю стали класть, сначала на асфальт, а потом прямо на грунт. И тут, чего я и боялся, еще шесть колхозов из дальних районов прикрепляют. Там склады забили, а ветки железнодорожной нет, так и не вывезешь. Получай, Семен, раз-нарядку, у тебя ж элеватор, пути подъездные. А элеватор, он не резиновый, и на путях вагоны с зерном стоят, как склады. Мечусь по району, метров сто брезента в воинской части слезно выпросил. Но ведь везут и везут. Ходим по зерну, дышим им, тонем в нем. И окна конторы уже завалило. Солнце весь день шпарит, а у меня в кабинете сумерки, в окнах — зерно.

Спал я тут же, на диване. Выйдешь ночью, небо звездное, смотришь на луну, как тучка ее заслонит, прямо хоть кричи — вдруг дождь. Сотни тонн хлеба — под открытым небом лежат.

За проходную выйдешь покурить. Водители окружают — ночью ведь тоже везут — и уж не матерят меня, как в первые дни, не кроют господом богом меня, директора, вместе со всем моим коллективом — понимают, что деваться некуда. Сядут, повздыхают, покурят, а с дороги темным облаком пыль в ночи клубится — везут.

Утром встаешь разбитый, словно все эти тонны хлеба на тебе лежали. Днем жарится, лаборантки мечутся, председатели колхозов и уполномоченные всякие звонят, предписания мне суют — принять и сохранить любой ценой; я управление телеграммами бомбардирую, а сам ведь знаю, что там творится. И главное — мысль о дожде в голове стучит. Дождь — погибель моя. Сгноишь хлеб, потом ничем не отмотаешься, никакими объективными причинами не прикроешься. Не дай бог никому это изведать — ответственность за сотни тонн хлеба, который ты ни укрыть, ни спасти не можешь.

И решил я: будь что будет, пусть лучше сейчас снимают, чем потом под суд идти. Шофером пойду, у меня права водительские профессиональные, механизатором в колхоз. Поехал на почту, взял бланк телеграфный, пишу министру: «Прошу освободить

меня от занимаемой должности, так как элеватор неуправляем». Сую в окошко, девушка взяла и ушла куда-то. Выходит начальник почты знакомый, конечно, кого ж я в районе не знал.

— Ты что это, Семен Григорьевич, паникерские настроения сеешь?

— Тебе что? Ты обязан отпратить.

— Отправлю, но дальше области не пойдет. В облисполком попадет.

Ах ты мать честная! Я на другую почту. То же самое: «В обком направим, тебе же холку намылят». Потом сообразил: за речкой — другая область, мотанул туда, на ближайшую почту. Девчонка повертела телеграмму, я удостоверение ей сую, книжку свою красную — директор хлебоприемного предприятия. Пожала плечами — отправила.

Через пару дней сию у себя, звонят из проходной. «К вам товарищи из центра». И вваливается в кабинет сам министр — высокий, плотный, с депутатским флажком, я его сразу не узнал, все больше на активах видел, издавека, в президиуме, а с ним еще двое, с портфелями, референты, видно. Вошли, отряхнули пыль, присели. Докладываю: так, мол, и так, пункт засыпан хлебом свех всяких возможностей, копии докладных даю, телеграммы, на свое место его сажаю, я, мол, теперь здесь не директор.

— Сиди, — говорит. Пристроился сбоку, документы просматривает.

Тут дверь без стука настезь, входит осанистый такой молодец при полном параде — черный костюм, рубашка белая, галстук, папка подмышкой:

— Я уполномоченный по хлебозаготовкам Екатеринбургского района, районный прокурор. На каком основании не принимаете хлеб?

— Садитесь, — говорю, — товарищ прокурор, — и на министра киваю.

А тот:

— Ничего, пусть товарищ выскажется.

И товарищ высказывается, ну просто ни в чем себе не отказывает: брать меня сейчас — и за решетку. Мне-то не при-

выкать, двенадцать их у меня, уполномоченных, и все так вот и высказываются. Думаю: «Смотри, министр, сейчас другие косяком пойдут». Пошли один за другим.

— Я уполномоченный такого-то района, начальник райфо. К вам направлено четырнадцать машин с хлебом.

Выслушиваю, усаживаю. И так они рядком сели, человек пять, остальные не пошли, поняли — из большого начальства кто-то приехал.

Сидим, ждем, приутихли мои уполномоченные. Министр встает. И минут эдак на десять разнос им дает, и мне, конечно. Потом с министерством соединился, на том конце провода целое совещание собрал. С час висел на телефоне. А через три дня у меня десять тысяч тонн хлеба забрали, двор очистили и из складов малость даже вывезли, под кукурузу место освобождаю. Отмяк я. Свет увидел. Ну, думаю, Семен, еще не вечер. А беда моя меня только еще стерегла».

Он умолк, прикурил от окурка новую папиросу и жадно втягивал дым. К причалу, у которого мы сидели, подходили моторки. С сумками полными яблок, с пустыми канистрами, с детьми на руках высаживались семьи, утомленные целодневным солнцем, купанием. Уходили в гору, к улице, растворяясь в пестром человеческом потоке. А там из открытых окон ресторанов доносилось в джазовом звоне: «Улица, улица, улица родная, Мясодедовская улица моя». Плясали в тесных залах хмельные люди, взмахивали руками, топотали ногами по пыльному полу. По главному проспекту вдоль припыленных акаций плыла плотная праздничная толпа. Все в ней было крупно, ярко, добротнo — умиротворенные лица, мужские костюмы из кримплена, разноцветные платья на раздобревших женских бедрах.

«Думал я в то лето, что выскочил, отмотался. В сентябре пошла кукуруза — сушить, калибровать, закладывать — тоже мороки немало, но все же не пшеница. Пшеницу уже подчищали, готовили рапорты.

Как-то утром звонит секретарь райкома того района, на территории которого мой элеватор.

— Сколько, — спрашивает, — ты принял хлеба от наших хозяйств.

Заглянул я в свой талмудик, он всегда при мне, называю цифру, какая была на то число.

— Ну вот, можешь приплюсовать еще пятьсот тонн. Я был вчера в «Красном партизане» и в «Победе Октября», у них все остатки на токах. Сегодня-завтра тебе свезут, можешь их засчитывать, а общую цифру и нам, в район, и в область дай сегодня.

— Может, когда примем, тогда и сообщим?

— А я тебе говорю: считай, что это зерно у тебя в силосах. Ты что, маленький? Здоровая детина выросла, а все объяснять надо. Ты ж у нас на партучете, должен понимать — рапорт сегодня посылает. А о хлебе не беспокойся, у тебя будет, никуда не денется.

Ах, думаю, будь ты неладен, когда ж эти фокусы кончатся? Спрашиваю:

— Кому это надо, Николай Петрович?

— Опять двадцать пять. Ну, мне надо. Мне. Понял? — и голос металлом наливается.

— Ах, вам. Хорошо, если вам, то сообщу.

Вызываю экономиста и говорю:

— Сообщи в район сводку с плюсом в пятьсот тонн. А в областное статуправление, какую положено на сегодняшнее число.

На следующий день домой я приехал поздно, часов так десять. Запчасти для сепаратора в городе выбивал. Сижу, ужинаю, вернее, обедаю. Жена, когда б я не приехал, а бывает, и ночью домой попадешь, полный обед дает. Звонок телефонный. Секретарь райкома.

— Семен Григорьевич? Что ты делаешь?

— Как что делаю? Отдыхаю. Вот только домой добрался.

— Отдыхаешь? Давай-ка срочно в райком. Ждем тебя здесь.

Поматерился я шопотом, доел борщ, оседлал «газик», он у меня вечером всегда у дома под окнами стоит, и в райцентр.

В райкоме все окна темны, только у секретаря на третьем этаже свет горит. Вхожу. Человек пять местного начальства. И с места в карьер секретарь на меня как попер.

— Ты в своем уме? Ты что ж это район срамишь? Какую сводку передал?

— Вы говорили, вам это нужно, вам я и сообщил, а государству врать не буду.

— Ты с нами в бирюльки играть? Партбилет положишь! С работы полетишь!

— На работу не вы меня ставили, не вам и снимать.

И так этот ор часа на два пошел. Так что домой я попал где-то после полуночи.

С работы он меня, конечно, не снял, не так это ему просто. Сняли другие.

В ту самую ночь, когда меня в райкоме честили да обхаживали, мой начальник транспортного отдела от переутомления что ли — он, бедняга, сутками в ту пору с элеватора не уходил — по ошибке вместо сухой да подработанной кукурузы отправил в Закарпатье состав влажной, которую нам прислали на сушку. Пока ходил тот состав от станции к станции — дорога в это время забита, — пока его переадресовывали, сгорела кукуруза, погибла. ЧП республиканского масштаба. И меня — на коллегии министерства.

Объяснять особенно нечего, сваливать тоже не на кого. Виновен.

— А где же вы сами были, когда отправлялся этот состав? — спрашивают меня.

Что тут скажешь? Что был в ту ночь в райкоме, где крыли меня на все корки и снять с работы грозили? Молчу.

— Какие будут предложения? — спрашивает министр.

— Снять с работы и уволить из системы. Не можем мы ему доверять хлеб, — предлагает начальник элеваторного главка.

Помолчал министр. Может, вспомнил мой элеватор, засыпанный зерном, и как сидели рядом пять уполномоченных. А может, просто паузу сделал, решая мою судьбу? Говорит, наконец:

— Надо все-таки дать человеку возможность исправиться. Не безвозвратно он для нас потерян. Такое крупное хозяйство мы ему, конечно, доверять больше не можем, а на небольшой хлебоприемный пункт направить следует. Вот товарищи подсказывают, в соседней Большепереченской области, в Батоговском районе в селе Ефимовка как раз место сейчас освободилось. Пусть там порядок наводит.

Как сказал он Ефимовка, я прямо охнул про себя. Вот, думаю, судьба. В Ефимовке мой отец после войны директором был, я там рос, слесарем начинал. У меня ж все предки хлебозаготовители. Дед на хлебной ссылке мешки таскал, отец в «Заготзерне» директорствовал. И теперь вот круг замыкается, откуда пришел, туда и возвращаюсь. Я только потом узнал, что это мне Гориглаз соломку подстилал. Он уже тогда был начальником областного управления и, прослышав о моей беде, договорился кадровиками министерства, а те уж министру решение подсунули.

Ну, что ж, вышел я с коллегии директором Ефимовского пункта. Но попал туда не сразу. Пока в больнице отлежал с микроинфарктом, пока сдал дела, пока перебрался — зима. Зимой и в крупных хозяйствах затишье, а здесь всех емкостей тысяч двадцать тонн, самый край области — так и вовсе тишина. Приехал, собрал людей, многие меня мальчишкой помнят, знают, конечно, за что меня сюда сослали. Смотрят, улыбаются:

— Переменился ты, Семен Григорьевич, седой стал.

Сию в кабинете, старые приказы читаю, отцовскую руку узнаю. И приказы-то все какие интересные. О ремонте конюшни — на лошадях хлеб возили. О замене трансмиссии — движок к сушилке приводной был, электродвигателя не имели. О премировании грузчиков — длинный список. На плечах мешки с зерном таскали, грузчик — главная фигура.

Принял я пункт, осмотрелся. Впрочем, осматривать оказалось особенно нечего. Перемен за тридцать лет особых не произошло. Техника, понятно, кое-какая появилась, конюшня уже ни к чему, но как были лабазы от купеческого сословия оставшиеся, так они и есть.

Народ, в основном, тот же, что и при отце. Состарились, разумеется. Но крепкие такие старики. У всех дома основательные, село рядом. Хозяйство, как и положено, скот, свиней по пять-шесть штук держат. На чем это свиноводство развивается, мне, конечно, ясно, штука нехитрая. Каждый к вечеру несет сумку с зерном килограмма эдак на три-четыре. Понимаю, людям жить надо. Оклады в нашей системе низкие. Но ведь всему есть предел. Можно и проросшее фуражное зерно выписать, так

нет — несут самую высокобелковую продовольственную пшеницу, которую мукомолы на макаронны пускают.

С одним поговорил, с другим — мнутя, отмалчиваются. Новая метла прибыла, думают, да мы тебя голоштаником помним, чумазым слесаришкой, вальцы отлажаивающим по уши в мазуте. А сейчас ты нам мораль читаешь.

Да, думаю, разговорами одними здесь не обойтись. Привел к себе в кабинет одного старика с сумкой килограммов на пять, закрыл дверь и говорю: «Или акт составляю и под суд пойдете или заявление подавайте». Шваркнул он сумкой об пол, дверью хлопнул. И вместе с ним еще двое через секретаршу мне заявления посылают — по собственному желанию. Один сушильщик и двое транспортерщиков — все пенсионного возраста. Такую вещь я, конечно, предвидел и готовился к ней, двух ребят из Сельхозтехники уже сманивал. Подписал я заявления и к косым взглядам на селе приготовился. Но того, что произошло, предвидеть не мог.

Недели через две, смотрю ковыляет по двору знакомая фигура. Отец припожаловал. Жил он на пенсии, километров сто от Ефимовки, там, где на последнем месте работал. Входит.

— Здорово, директор.

— Здравствуй, отец. Вот так радость! Сколько не видались. — Обнять его хочу, а он отстраняется, сбоку у стола пристраивается.

— Каково хозяйничаешь?

— Ничего, — говорю, — помаленьку.

— Да не так уж помаленьку.

Озирает кабинет:

— А стол лакированный, шкаф новый — ты здесь поставил?

— Нет, — говорю, — мой предшественник.

— Стало быть, мебель не меняешь. А людей решил поменять.

Тут я и сообразил. Тот старик, которого я с сумкой в кабинет привел, — это ж друг его с довоенных лет и бывший заместитель, это он потом, на старости лет в сушильщики пошел. Значит, он и написал отцу: так мол и так, сынок твой меня уволил, куса хлеба на старости лет лишил. Вот отчего у отца ноздри раздуваются и глазами он меня сверлит, будто пороть собрал-

ся, как в детстве, когда я, балуясь со спичками, чуть сарай у соседа не сжег. Вот так история — и смех, и грех.

— Не угодили тебе люди, которые здесь в войну спину гнули, хлеб государству в голодные годы спасали.

— Постой, постой, отец. Ты посмотри, что мы тут затеваем, во что твой пункт превращаем.

— Видел. Стенку сломал, транспортер поставил — думаешь, хозяином стал. Килограмм зерна человеку пожалел. Нет, ты научись хлеб по-настоящему беречь, как мы берегли, не гноить вагонами, а потом жалей.

И ведь знал по какому больному месту ударить. Наслышался о моей истории, поддых коленом бил. Тут и я взвился. Стукнул отец палкой по столу — он еще с той первой войны хромал — и из кабинета вон. Домой ко мне ни на шаг, два дня у того старика прожил и уехал, даже внука не посмотрел. Года четыре с тех пор мы не виделись и не переписывались. Недавно только у племянника на свадьбе встретились, помирились.

Вот так и началось мое хозяйничанье в Ефимовке. За пару лет я много чего тут понаделал. Новый склад построил, аэрожелоба соорудил, сушилку современную смонтировал.

А потом как-то Гориглаз ко мне приехал. Посмотрел хозяйство, выпили мы дома у меня, жена гуся зажарила. Сидим, новости областные да министерские перебираем: кого куда назначают, кто кого тянет, кто кого топит. Потом он понемногу о своих планах начинает говорить и между прочим сообщает, что принято решение о строительстве в области элеватора, не так уж слишком большого — тысяч на семьдесят хранения — но всей новейшей на то время техникой набитого — тут тебе и дистанционное управление, и автоматические пробоотборники — словом, чтоб было где людям учиться. Такую прекрасную картинку рисует. А самое главное сообщает под конец: смонтировать его из блоков решено...

— Как думаешь, за сколько?

— Года за четыре, — говорю.

— За два от нуля!

— Ну уж за два... Жалко мне того директора, который будет его строить и осваивать, хотел бы я на него посмотреть...

— Директоров жалеть — хлеб не сохранить, — улыбается Иван, — А посмотреть ты на него можешь, если у тебя зеркало имеется.

И тут я начинаю понимать, что это он мне подсуропливает. Честно говоря, когда он меня тогда отмазал и к себе в область взял, я предвидел, что со временем, когда все утихнет, он меня к себе в управление возьмет, если не замом, то хоть начальником отдела хранения. Но чтоб такое... Ничего себе дружба! Он еще фразы не договаривает, а я уже вижу как начальник СУ будет мои жилы на барабан наматывать, сколько лиха придется с отладкой техники хлебнуть, сколько выговоров тот же Гориглаз, с которым мы сейчас водку пьем, мне же и навешает. Много, чего вижу такого, что и было за те не два, конечно, за три года, за которые мы элеватор отгрохали. И было то время, по счету моей врачихи, год за два, а то и за три. Съела у меня эта стройка еще лет пять жизни дополнительно, как ножом отрезала».

Он проводил Даню до дверей номера, но зайти еще посидеть отказался, простился сухо, словно стесняясь накотившей на него откровенности, опоминаясь от душевного потрясения вызванного своим рассказом. А Даня долго еще курил на балконе, впитывая в себя звуки затихающего города, перебирая в памяти, словно обкатывая все услышанное.

АВАРИЯ

Фамилия, названная в телефонную трубку хорошо поставленным женским голосом, — «Сейчас с вами будет говорить...» — нередко мелькала в газетах в обойме «владельцев заводов, газет, пароходов» — тех, кого принято считать хозяевами жизни.

— Даниил Семенович? Хотелось бы познакомиться. Есть тут для вас некое предложение...

Предложение, сделанное на следующий день в стометровом кабинете с мебелью обтянутой зеленой кожей, звучало довольно туманно — идти консультантом по аграрной экономике. Ника-

кого сельского хозяйства в холдинге, возглавляемом хозяином этого кабинета, вроде бы не имелось. Имелись банк, рекламное агентство, страховая компания, какое-то загадочное подразделение по финансовому консалтингу... Все это располагалось в многоэтажном модернистском здании в арбатском переулке и было, казалось бы, бесконечно далеко от даниных интересов.

— У меня есть планы, связанные с вашей специальностью, — продолжал олигарх с патриархальным именем Иван Николаевич, — но о них мы поговорим позже. А пока, если вы согласны, вклад у вас будет вот какой, — он написал на листочке цифру, которая в пятнадцать раз превышала данин институтский заработок. — Кабинет вам укажут и попробуйте составить для меня обзор основных тенденций развития аграрного производства, небольшой, страниц на десять, но достаточно насыщенный.

Предложение подоспело как нельзя более кстати, ибо существование Дани к концу девяностых годов становилось тупиковым и все, что его окружало, было словно присыпано пылью умирания. И сам институт, по запущенности и возрасту сотрудников все больше напоминавший богадельню, и сектор данин, состоявший из двух увядающих печальных женщин, и полки его кабинета, забитые старыми отчетами — все говорило о безденежье, ненужности, забытости. Те, кто помоложе, поактивнее, ушли в бизнес, в чиновные ведомства. Оставались старики с их ностальгией по исчезнувшей стране, укладу хозяйственной жизни.

Этот непонятно как возникший телефонный звонок мгновенно перенес Даню в другой мир — в щегольский кабинет с новейшим компьютером (плоский монитор, большой экран, постоянно подключенный интернет), к полированному письменному столу, на который по утрам клали свежие газеты и журналы и всю экономическую периодику. Зарплату принесли в срок (в институте ее задерживали месяцами) новенькими стодолларовыми купюрами в фирменном конверте. Обзор писался легко, мыслей и соображений, выношенных, но до сей поры никому не нужных, у Дани имелось больше, чем достаточно.

Через пару недель появился хозяин — с загаром на молодом жестком лице — присел на краешек стола, болтая длинными

стройными ногами, и завел, наконец, разговор, которого Даня давно ждал.

— Вас, естественно, интересует, для чего я вас взял. Дефолт, из последствий которого мы недавно выпутались, показал, что деньги надо вкладывать в реальный сектор. А что может быть реальнее, чем земля? Я бы хотел, чтобы, используя свой опыт и знание российской глубинки, вы подыскали регион и даже более конкретно — район, где можно вложить деньги в сельскохозяйственное производство. В перспективе речь идет о создании аграрного холдинга. Хотелось бы, чтобы это было в средней полосе России, возрождению которой мы могли бы послужить своими деньгами. Я, знаете ли, русский...

— Я тоже, — сухо сказал Даня. — Но разве в этом дело?

— Для меня и в этом. Так что берите командировку, поездите по регионам. И я жду от вас через пару месяцев технико-экономическое обоснование такого холдинга.

Он соскочил со стола и направился к двери.

Семь лет не был Даня в Батогово. Бывало и раньше, что он попадал туда после такого перерыва, не замечая при этом особых перемен. Могли появиться новые постройки — клуб, ферма, жилой дом; кто-то из новых людей всплывал, а кто-то умирал, но по существу ничего не менялось — река сельской жизни неспешно текла в тех же берегах.

Обычно уже в Большереченске, пройдя подземным переходом от вокзала к автостанции, и сев в батоговский автобус, он ощущал это течение. В истертые кресла усаживались загорелые на огородном солнце старухи, молодые пары, ребята. Все с сумками, полными городских булок. И он уже понимал, что в Батогово также дымит и грозит обвалиться старая печь на хлебокомбинате.

Прежде чем успокоиться перед двухчасовой дорогой, дремотно откинуться в креслах, люди перекликаются окающей скороговоркой. Крепкая остроглазая старуха рассказывает спутнице: «Так он не изработался, не изломался. Бороду венником распушит: «Дедушка, дедушка. Садись, дедушка», — изображала она некую сцену. — А он смолоду бороду носит.

И всю-то жизнь то в сторожах, то в правлении начальству доклады подносил. Вот его на баб тянет. Вон, Иван — ломаный, изработался. Он тебе и дедушка, и бабушка...»

Постепенно все успокаиваются, стихают, начинают засыпать, дружно встряхивая головами на дорожных ухабах. Сквозь щель в крыше в салон проникает теплый летний ветер. Шоссе разрезает чахлые хлеба. Мелькают знакомые смолоду названия деревень. И сквозь дремоту пробиваются мысли об этом дедушке, которого все тянет на баб и ломаном, мученом Иване. Где же его так измучали-изломали? А мало ли где могут изломать человека в России?

В этот раз он решил не заявляться сразу к Леонтьеву, который по его сведениям так и властвовал все эти годы в районе, а остановиться в Андросово у Гурина, осмотреться, нанять его племянника с «Жигулями» для личного извоза (благо, пачка долларов, выданная Дане на командировочные расходы была достаточно толста) и потом уж спокойно ездить по району, общаясь с кем надо.

Племянник гуринский — Вася, ждал с машиной на вокзале в Большереченске. Даня помнил его румяным бойким подростком, забежавшим к дяде. Вопросы у него тогда были разные. Видел ли Даня Хрущева? Очень удивлялся, что не видел, в Москве-то живя. Или как стать шофером-дальнобойщиком? На все данины отговоры — ничего хорошего в этой профессии нет — ни помыться в дороге, ни поесть по-человечески и ночевать приходится в кабине, а то и у придорожного костра — Вася только улыбчиво встряхивал головой. Это-то, судя по-всему, и прельщало его. Он таки стал дальнобойщиком, и видно неплохо зарабатывал, потому что, отделившись от отца, построил неплохой дом, купил «Жигули», но потом попал в аварию, охромел и артрит стал его мучить. Так что теперь это был ушлый сорокалетний мужик с женой-алкоголичкой и двумя детьми школьного возраста. Он работал истопником в колхозной котельной и подрабатывал на «Жигулях» — кому чего привезти.

Когда подъехали к границам района, Даня попросил Васю не сразу направляться в Андросово, а поколесить по району,

чтобы хотя бы визуально узнать, что здесь случилось за семь лет. То, что он увидел, поразило его. Непаханые, заросшие сорняками поля, упавшие крыши ферм, руины складов, ржавая ружья на междворах. К одной деревне шли столбы без проводов.

— Провода сняли, продали да пропили. Так и живут без света, — пояснил Вася.

— Подожди, здесь вроде кочуновские земли. Почему ж овес не скошен? Сентябрь ведь.

— Наверное некому да и нечем косить. Ни солярки нет, ни техники. А вон там вообще не сеяли.

— Слушай, я не думал, что так плохо. Прямо, как война прошла.

— Она и есть война. А вы посмотрите зато, какие дома в Батогово понастроили себе наши начальники. Дворянское гнездо называется.

В райцентре и в самом деле появился целый квартал особняков разнообразной архитектуры. Где-то чудилось нечто готическое — остроконечная крыша, арочные окна, башенки. А у кого просто без затей расплзшиеся широкие дома с многооконным фасадом. Просторные, основательно огражденные участки, где располагались еще какие-то постройки, то ли гараж, то ли бассейн.

— Это дом Леонтьева, — показывал Вася. — Этот Мостового, бывшего начальника райагроснаба. А этот Сысоева — он раньше председателем райпотребсоюза был, а сейчас ему целая сеть магазинов принадлежит.

— Ну, как тебе наши виды? — спросил Гурин, как только они, расцеловавшись, вошли в дом. Он сильно постарел, ходил не без труда, но на слова был также жив и востер.

— Да-а. Что ж это делается...

— Помнишь, мы в тот раз, когда ты с американцем приезжал, все о рынке толковали. Так вот он пришел твой рынок. Никаких планов, никакого распределения, полная свобода: что хочешь сей, кому хочешь — продавай. Кувыркайся, как хочешь. Вот и докувыркались. Половина колхозов существуют только на бумаге. А в другой половине какие-то городские бандиты скупили все за долги, немного папсут и сеют, чуток скота держат, да только

так все это — для вида. Народ больше хозяйством своим живет, кто побойчее по две-три коровы держат, лук продают. А остальные пьянствуют как безумные. Конец света да и только.

Неделю понадобилась Дане, чтобы воссоздать картину жизни района. В колхозах, которые все эти годы по сути дела оставались такими же, как и раньше, несмотря на то, что колхозники имели земельные паи, шла смена владельцев.

Операция эта каждый раз происходила по одинаковому сценарию. Когда долги и невозвращенные кредиты начинали душировать хозяйство, находились какой-нибудь городской предприниматель или преуспевающая компания, которые, выплатив эти долги, получали в собственность то, что называется основными фондами — технику, фермы, скот, — становясь фактическими хозяевами колхоза. Сделка эта, как правило, была выгодной, ибо стоимость основных фондов при всем сельском разорении все-таки вдвое, втрое превышала сумму долгов. Сначала новый владелец как будто бы делал поползновения к хозяйствованию — сократив численность работников и посева, он кое-что покупал для производства, платил зарплату. Но потом понимал, что нужны новые и новые инвестиции, ощущал как низки цены на мясо и молоко по сравнению со стоимостью горючего, удобрений, электроэнергии и пускал дело на самотек, продавал скот, переставал выдавать зарплату.

Но это была схема, за очертаниями которой оставалась плоть деревенской жизни, оставались детали, а в них, как известно, и есть дьявол. Когда Вася, с которым они за дни совместных поездок невольно сблизились, как-то задумчиво обронил: «Лучше всего было в брежневские времена. Мы и не заметили, что жили при коммунизме», Даня воскликнул:

— Что ты говоришь!

— А что? Многие сейчас так думают.

— Подожди, подожди. А ты помнишь тот ваш сход, когда вы хотели отъединиться от совхоза, и чтобы у вас в Андросово свой колхоз был, как раньше. Как вы тогда все орали, что так жить нельзя, что власть вас ломает и все вокруг плохо. Ты помнишь этот сход?

— Да помню, помню. Но мы же не знали, что может быть хуже. Теперь мы вообще предоставлены сами себе и до нас никому дела нет. Ни зарплаты, ни работы... Вот и пьют все как очумелые.

Пили и правду чудовищно. Оно, конечно, и раньше мимо рта не проносили, но чтоб так... В Кочуново на ферме стояло не мычанье, а уж скорее стон недоенных коров — запили доярки. В Андросово, где он жил у Гурина, во дворах его встречали сплясавые разинутые рты, бессмысленное бормотанье. В магазине за специально поставленным столом сидели в дупель пьяные мужики. Парни с косыми глазами, еле ворочая языком, уговаривали продавщицу дать в долг. И все это среди белого рабочего дня.

— Половина села не работает, — говорил Вася, — пошабашничают где-нибудь или что-то с огорода продадут и пропивают. Клянчат друг у друга. Денатурку пьют, она самая дешевая...

Денатурат — низшая ступень в алкогольной иерархии, пять рублей бутылка.

Подороже выходил самогон, который гнали из чего ни попадя. Потом паленая водка, которой частным образом торгуют спиртоносы, имеющиеся в каждом селе. Высшая ступень — спирт с ликерно-водочного завода, который только один из всех пищевых предприятий района не закрылся. Чистый, высшего градуса спирт. Мечта алкоголика!

— Я закупаю его сразу несколько литров, — рассказывал Вася, сам мало пьющий, но измученный женой-алкоголичкой, — прячу, чтобы жена не дозналась, и выдаю ей каждый день стакан на день. Это, если в водку переводить, примерно, триста граммов. По-другому нельзя, а то она из дому все тащить начнет, по соседям бегать. Болезнь. А так выделил ей порцию, она весь день сосет, и даже по дому кое-что делает. Правда, к вечеру иногда умолять начинает: «Дай еще, дай, не могу, дай». Ну, тут уж твердо стоять надо.

По возвращении вечером к Гурину, Вася обыкновенно не шел домой, а оставался ужинать у дяди, и втроем они обсуждали все увиденное за день, пытаясь ответить на данины вопросы и недоумения. Он и сам поражался тому, как это, занимаясь всю жизнь

сельской экономикой и более того — бытовым, усадебным ее сектором, теперь чувствовал себя в роли того наивного американца, с которым приезжал сюда семь лет назад. Он, правда, мало ездил в деревню в последние годы, но ведь читал, анализировал документы, пытаясь хотя бы по ним следить за происходящим. И тем не менее два мужика — старый и молодой — терпеливо растолковывали ему суть явлений, их человеческую подоплеку, а он как тот американский профессор восклицал и воздевал руки к небу.

Ну, можно же как-то вырваться из этого порочного круга. Не платит тебе колхоз, разорился, но ведь руки у тебя есть, голова, уметь; бери свой пай, свой надел — дали же землю, так хозяйствуй на ней. Техника нужна? Но хоть какой-нибудь старенький тракторишка можно купить или арендовать. Наконец, кредит взять. Почти на каждую деревню приходится хотя бы по одному фермеру. У них-то идет дело.

Сцепив руки в замок и глядя Дане в глаза, Гурин втолковывал ему, неразумному. О кредитах надо забыть, нет их, давали когда-то первым фермерам, а потом процент так задрали, что не подступишься. Они же и технику смогли найти — что в колхозе украли, что прикупили. Сейчас с этим покончено. Все разворовано или к рукам прибрано. И стареньким тракторишкой ты не обойдешься, он и старенький полста тысяч стоит. Их взять где-то надо. Конечно, есть хозяйственные люди — кто коров пару-тройку держит, кто пасеку, кто десяток свиней. Так и здесь корма нужны — зерно, сено. Это каторга-то какая, все вручную, все на себе. Можно ли небольшой первичный капитал собрать, чтобы стать фермером? Долго считали, в данином блокноте писали — складывали, умножали — сколько молока надо продавать в год, сколько мяса, лука.

Выходило, что очень трудолюбивый, очень целеустремленный человек, крутясь денно и нощно, и себя, и семью поставив на рога, лет за пять может собрать некий капитал, который позволит ему купить технику, обзавестись семенами и начать свое фермерское хозяйство. А там как оно пойдет, это еще бабушка надвое сказала — пофартит ли с погодой, удастся ли во время и по доброй цене сбыть урожай... Вот почему лишь немногие решаются на такое да еще если есть какая-то помощь со сторо-

ны. Вот почему большинство мужиков держат минимум скота, необходимый для прокорма семьи, пьют, проклиная жизнь и с тоской вспоминают прошлые времена.

— По каким временам вы вздыхаете? — кричал Даня. — Вы лучше бы вспомнили двадцатые годы. Тогда ведь тоже пусть ненадолго дали землю. И как работала деревня, от зари до зари, не жаловалась, не ныла, работала! Пока под сталинский топор не попала.

— Эка что ты вспомнил, — улыбнулся Гурин. — Мы теперь другие стали. Хлебнули коммунизма. Ну, подумай, чего от мужика жизнь требовала? Раздать корма колхозной скотине или поле вспахать. Содержать в порядке свою корову да пару поросят. Обуть-одеть детей. Все это запросто делалось. Деньги колхоз платил, работу давал, усадьба тебя кормила. В субботу попарился в баньке, бутылку взял, по телевизору футбол посмотрел. Никакой тебе ответственности, никаких особых забот. Мы ж облегченно жили, беззаботно.

— Ладно, оставим эту невыносимую легкость бытия. Не хочется работать на себя — бог с вами. Но если все-таки появится здесь работа, скажем, свиноводческий комплекс возникнет. Ведь у вас здесь край традиционного свиноводства, еще молоко в Кочуново каких белых английских маток разводили...

— Откуда он появится? — перебил Гурин. — Мы как-то с Колькой Чугуновым, когда он еще председателем был, считали, сколько ж это денег надо, чтобы вытянуть колхоз, все поставить, как положено, по-современному. Так вышло — полмиллиона долларов. А их у нас в районе колхозов-то считалось семнадцать.

— Откуда появится — вопрос другой, это не твоя забота. Предположим, появился, и зерно для откорма здесь в районе выращивают по современным технологиям, и переработка мяса идет — словом, замкнутый цикл. Рабочая сила нужна. Но работать надо на хозяина не как на колхоз, не воровать, не пьянствовать, полный рабочий день с полной отдачей. И зарплата соответственная. Как? Пойдет народ?

Гурин молчал, думал, барабанил по столу пальцами.

— Не знаю, что тебе и сказать, Семеныч. С одной стороны пошли бы, конечно. А с другой — ослабел народ, распустил-

ся. Ты Столыпина речи читал? Вот недавно издали, и я купил, хотя и дороговато. Так вот он говорит: «Иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых». Больно много пьяных и слабых у нас стало.

Как ни странно, Столыпина цитировал и Леонтьев, к которому Даня выбрался-таки под конец своего пребывания в районе. Он снял с полки тот же самый том, о котором говорил Гурин, и, листая его, отыскивая нужные цитаты, развивал целую теорию новейшей истории России.

Хорош был Кирилл Афанасьевич Леонтьев в роли домашнего философа. Он картинно смотрелся у полок своей прекрасно подобранной библиотеки (Карамзин «История государства российского», Сергей Соловьев, Ильин, Бердяев...) в просторной блузе, слегка расплывший, но еще статный, в модных очках в тонкой оправе, легко оперировавший историософскими категориями, не бывший обкомовец и председатель колхоза, а прямо-таки славянофильского толка либеральный помещик середины XIX века из круга изблюбленных им Киреевского, Аксакова и Хомякова.

Хорош был и дом его в батовском «дворянском гнезде» — красного кирпича, со шпилями и башенками, с современными интерьерами просторных комнат, с финской баней и бассейном. Любуясь их изразцами и кафелем, Даня вспомнил скромную баньку, которую Леонтьев построил при двухквартирном доме, где они жили с предриком, и тот скандал, что затеял Фоменко, пытаясь свалить Леонтьева.

А застолье с изысканными закусками, со старым ирландским виски, до которого хозяин дома, как оказалось, был большой охотник, именно ирландский, а не шотландский был ему по вкусу.

Расспрашивать своего гостеприимного хозяина о причинах разора и обнищания вверенного ему района Даня счел ненужным. Он понимал, что Леонтьев сошлется на диспаритет цен, отсутствие инвестиций, государственной помощи селу (во всех развитых странах помогают фермеру), на худой конец посетует на разбаловавшийся народ (эта теория о сильных и слабых

не случайно же извлечена им из каких-то историософских трудов)... Так что ничего не останется Дане, как вспомнить старую литературную байку о том, как Сталин в ответ на жалобы Фадеева на то, что писатели плохо пишут, ответил: «Где я вам возьму других писателей».

Поэтому Даня предпочел ставить вопросы конкретные и расспрашивал о подробностях исчезновения сети перерабатывающих предприятий, ранее довольно успешно работавших в районе. И молочный, и консервный, и сахарный заводы были перепроданы (как Даня понимал не без участия Леонтьева — не такой он человек, чтобы что-то делалось в районе без его участия) каким-то фирмам, которые сначала сворачивали, а потом закрывали производство, ссылаясь на сокращение сырьевой базы (мало молока, сахарной свеклы, овощей стало в районе), пытались перепрофилировать его, потом продавали еще кому-то... Словом, концы найти было трудно. Работали только ликеро-водочный, хлебозавод и хлебоприемное предприятие в Ефимовке.

Что касается хлебоприемного предприятия, игравшего немаловажную роль в планируемой аграрной экспансии холдинга Ивана в Батово, то тут Даню подстергала неожиданность. Оказалось, что владельцем его является Семен Фоменко.

— Владелец? — вскричал Даня. — Директором, управляющим. Но как владельцем?

— Директором он остался. Но и владельцем стал. Понимаю ваше удивление, — с язвительной улыбкой говорил Леонтьев. — Диссидент, демократ, друг народа, обличитель злостного коммуняка Леонтьева и вдруг стал капиталистом, в сущности, миллионером. Там основные фонды потянут рублей эдак миллионов на двадцать, если не поболее. Там ведь элеватор с сушильным оборудованием, подземные хранилища, где можно на грузовике ездить.

— Как же это получилось?

— А очень просто. Сначала это ХПП стало акционерным обществом, акции которого были поделены между колхозами района. И был Фоменко обыкновенным управляющим в этом АО. Потом, где-то в 93-м или 94-м, сейчас уж и не упомяну, стал

он выкупать эти акции у колхозов за копейки. Говорят, некоторые вообще их ему дарили.

— Почему?

— Даниил Семенович, ты ж человек у нас в районе свой, — интимно переходя «на ты», объяснял Леонтьев, — должен понимать эту механику. Что такое для председателя колхоза ХПП, будем называть его для простоты элеватором. Вот привез ты зерно. А тебе — сортность не та, засоренность высокая, содержание белка низкое... Какие они на самом деле — иди проверь. Получается: другой класс, другие деньги. Можешь, конечно, заплатить лаборанту, он потом уж с начальством поделится, тогда к тебе другой подход. И потом — деньги ты когда еще получишь, а тебе они ой как нужны сейчас. А у ворот перекупщик караулит, предлагает не по двести пятьдесят рублей за центнер, а по двести двадцать. И отдаешь подчас, куда ж деться. Так директор элеватора — большая власть в районе. И тебе, вернее твоему хозяину, если он действительно думает создавать здесь замкнутый агропромышленный комплекс, этот элеватор очень нужен. Он ведь стратегически точно поставлен, на пересечении путей и дорог, обслуживает хозяйства не только из нашей, но и из соседних областей. Туда вкладывать деньги, да строить при нем мельницу, комбикормовый завод. Это ж золотое дно. Ведь и предполагалось в перспективе — превращать его в комбинат хлебопродуктов. Да советская власть кончилась, мир ее праху, и все так и осталось в планах.

Скорее, скорее в Ефимовку, в это родовое фоменковское гнездо. Скорее, Вася, седлай своего верного «Жигуля» и едем в Ефимовку!

Семен Фоменко, став миллионером, ничуть не изменил ни привычек своих, ни образа жизни. Голова у него стала совсем белая, а сам подсох, чуть сторбился, но в движениях, в быстрой реакции был тот же. Жил в том же достаточно просторном, но уже старом деревенском доме, под окнами которого также, как и раньше, всегда стоял его УАЗик. И обедали, а вернее ужинали по-простому. Жена дала борщ, жареную свинину с картошкой, пили обычную водку.

Даня решил, что речь у них не пойдет об обстоятельствах того, как он стал владельцем хлебоприемного предприятия. О чем тут говорить, дело сделано. Но у того, видно, саднило, да и Даня был не просто заезжий гость, а давний знакомый, которому он исповедовался в тот далекий летний вечер в Большереченске. И после очередной рюмки Семен заговорил. Да, конечно, Дане, уже рассказывали, как он прибрал к рукам элеватор. Для злых языков это прихватизация, и он, Фоменко, местный Ходорковский или Березовский. Но какой толк был в распределении акций по колхозам. Что оно колхозам? Дивиденды? Их почти не бывает. А если и бывают, так он все в дело вкладывает. Положил себе, как директору, зарплату, чтобы прожить можно было, и все прибыли в дело — ремонт, модернизация оборудования. Расширение? Нет, расширяться он не собирается, тут серьезные инвестиции нужны. Даня знает, что значит этот элеватор для Фоменко, он на него жизнь положил, здесь его отец работал, а та стройка, которую они с покойным Гориглазом проводили, это ж его, фоменковская жизнь, его потерянное здоровье. Кому ж тут владеть, как не ему?

— Так может продать? — осторожно закинул удочку Даня. — Вырученные деньги под устойчивый процент — в надежный банк, и живи себе на покое безбедно, да еще детям-внукам останется. Когда-то ж отдыхать надо.

— Не-ет, — протянул Фоменко. — Продать? Ни за что. Я мечтаю детям-внукам не деньги оставить. Что деньги? Сегодня они есть, а завтра нет. А дело, хозяйство, где их деды-прадеды работали, это совсем другое. Сын у меня в Москве по компьютерному делу пошел, а вот внук, к моей радости, учится на факультете хранения зерна в пищевом институте, или теперь он академией называется. Вот и надо мне дожить до того времени, когда он закончит и сюда придет, чтобы ему хозяйство на руки сдать. Чтобы жила здесь моя династия.

— А вы романтик, Семен Григорьевич.

— Романтик не романтик, а мысль такая есть. Знаете, как у Пушкина: «Весь я не умру...» Так я и думаю, в потомках дело мое продолжится. Как нас учили в прежние времена:

принять хлеб и сохранить. Так и предприятие это — принять и сохранить.

На том разговор и закончился.

Представляя свой проект на правлении холдинга, Даня почувствовал себя в давно забытой роли диссертанта на ученом совете. Графики, плакаты, чертежи, развешанные на стене, он сам с указкой, втолковывающий десятку «новых русских» преимущества агропромышленной системы, создаваемой в рамках района... Его слушали, не перебивая, но по характеру последовавших вопросов он понял, что ребята это цепкие, хваткие и достаточно четко воспринявшие сильные и слабые стороны проекта.

Потом они сидели вдвоем с Иваном и еще раз проходили по всем узловым точкам системы, обсуждая возможные трудности и проблемы. Когда дошли до элеватора, который предстояло превратить в комбинат хлебопродуктов с комбикормовым заводом и мельницей, Даня еще раз подчеркнул ключевую важность этого узла для всего проекта и сказал то, что не хотел говорить на правлении:

- Владелец вряд ли будет расширять предприятие.
- Даже если мы дадим ему льготные кредиты?

Даня обрисовал характер Фоменко, рассказал об их разговоре и отметил, что не знает, как решить эту проблему. Продавать предприятие он не будет, реконструировать его сам не хочет, а без мощного комбината хлебопродуктов, расположенного именно в Ефимовке, создание всей системы оказывается под угрозой.

Иван помолчал, постукивая карандашом по обнажившимся в волчьей усмешке зубам, потом в его глазах на мгновение появился острый блеск.

— Ладно. В конце концов, это моя проблема. Вы свое дело сделали. Что-нибудь придумаем.

Этот разговор забылся, заслонился в начавшейся вскоре суете — формировании команды менеджеров, совещаниях, поездках в Большереченск, в Батогово, куда Иван ездил то со свитой, то без свиты, вдвоем с Даней, в переделках и дополнениях проекта, требующих все новой информации, новых расчетов. Он

слышал только, что с Фоменко дважды разговаривали представители менеджерской команды, и тот как будто стоял на своем.

И вот в очередной приезд в Батогово — весть о гибели Фоменко.

После смерти Семена Фоменко Даню долго не мог успокоиться. В его-то возрасте уж сколько людей он на тот свет проводил, а тут свербело какое-то смутное чувство, вроде бы сознание вины. В чем вины? Попал человек в автомобильную катастрофу. Ночная дорога, встречный тяжелый грузовик, смятый в лепешку фоменковский «Жигуль». То, что грузовик так и не нашли, эка невидаль. А, может, и не очень-то искали? Говорят, Леонтьев на правах главы района посоветовал райотделу милиции не мучаться, и так дел срочных, более важных вон сколько, а Фоменко все равно не вернешь. Однако, уж если кому покойник и насолил при жизни, так это Леонтьеву, такое не забывается и смертью здесь не искупишь. Да ведь все домыслы, слухи, скорее всего вдовой распускаемые.

А то, что для Ивана в его завоевании района смерть Семена Фоменко, поставившая точку в борьбе за элеватор, была подарком — тут тоже, как говорится, никто со свечкой не стоял, вполне могло случайное совпадение быть.

Но это он, Даня, район для экспансии Ивана выбирал, всех сводил, словно фигуры на шахматной доске расставлял действующих лиц этой драмы, сам, будучи, конечно, тоже фигурой, активно действующей на поле.

Иван, Леонтьев, Фоменко... Театром теней виделись они Дане в ночных его видениях. Но не тени — живые, выпуклые в своей реальности, полные страстей люди. Или тени? И некий Режиссер дергает за ниточки, так что они накладываются одна на другую, сближаются и отдаляются, сходятся, расходятся, размываются, исчезают в великом Ничто.

Как сжалось все внутри у Дани, какие мучительные подозрения охватили его. Да, конечно, теперь для осуществления планов Ивана путь открыт. Наследнику Семена, московскому компьютерщику, что было держаться за элеватор? Вдова же безгласна и никакой роли не играет.

Система обретала «зеленый свет». Свиноводство, комбикор-

ма, новейшие технологии, «белые воротнички» — менеджеры, пьяные крестьяне, получающие работу, возрождение разоренного края, мнившееся благодетелю Ивану — все должно было заработать. Все, что родилось в данином мозгу и теперь должно воплотиться «в пароходы, строчки и другие долгие дела». И только одна единственная человеческая жизнь стояла на этом победносном, этом сияющем пути, жизнь Семена Фоменко, раздавленная колесами безвестного грузовика.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЗАРА

В то германское лето, которое стало последним летом жизни Зары, ей снились странные апокалиптические сны.

Виделось: идет по сельскому проселку, а параллельно по траве движется череда людей в монашеской одежде, в черных балахонах, с палками, и быстро так идут, словно скользят. И небо в катастрофичных тревожных сполохах. А потом в небесной голубизне появляются знакомые лица. И вдруг понимает она, что небо, если всмотреться, если напрячься, состоит из лиц ушедших людей, которые смотрят на земной мир, словно хотят что-то сказать.

Даня, главный толкователь ее снов, каждый раз находил в них обычную жизненную подошлеку. Монахов, скользящих вдоль дороги, объяснил подспудным воспоминанием об их поездке в Израиль. Иерусалимские храмы были полны людьми со жгучими восточными глазами, в черных рясах. «Греки, армяне.., — вспоминал Даня. — Жарко же им в этих тяжелых черных балахонах. И потом, может быть, твои старые ареопагитские увлечения сказались. Ты ж тогда еще говорила, что вот по этой пустыне палестинской брел Петр Ивер со своим учителем. Два грузина в монашеских рясах. Помнишь?»

Она помнила, как рыжели за окном автобуса палимые нещад-

ным солнцем скалы, обрывы песчаника, наплывы глины, и все безжизненное, первобытное становится пейзаж, оживляемый разве что палатками бедуинов и их козами, которые, Бог весть, чем кормились в таком безводье. Этот пейзаж, наверное, и в самом деле был таким же и в пятом веке, когда здесь шел Ивер.

Даня был подчеркнута внимателен к Заре в то лето и подхватывал любой разговор даже и о снах, чего раньше не любил, полагая это бабьими бреднями. Хотя окончательный роковой диагноз еще не поставили, но Зара была так слаба, что целыми днями не вставала с глубокого покойного кресла, сидела, закрыв глаза, откинув голову на высокую спинку, или полусонно смотрела русский телевизор.

Показывали такое, что в прежние времена она ни за что не стала бы смотреть, а теперь даже умиление прошибало, когда в конце «Места встречи...» банда выходила из подвала и на экране появлялись грязные обломанные кирпичные стены, снег, тусклое небо, таганский двор, двор ее детства, детской тоски, пустоты, одиночества послевоенного. Так вот пронзит, пошевелит что-то, и снова уйдет, задвинутое старческим сидением в кресле перед экраном.

Иногда Даня выводил ее пройтись. Шли сначала по Виклефштрассе («Как-как? Виклеф? — Да-да, Виклеф — Wiclef. Это такой монах был средневековый, предшественник Реформации»), потом по Вальдштрассе, Готковски брюкке, и дальше, спустившись с моста — по набережной, где стеклянные конструктивистские модерн-небоскребы на другой стороне отражаются, колеблются, плывут в водах (не в воде, а обязательно в водах) Шпрее, а потом утренняя, пробуждающаяся, с открывающимися кафе, с бесшумно отплывающими от остановки автобусами Гельмгольцштрассе.

Надолго ее не хватало, вскоре возвращалась в кресло, в полудрему, в воспоминания, в какие-то смутные образы прошлого, в обрывки стихов, фраз. Однажды выплыло: «Здесь проходит загадки таинственный ноготь». Чье это? Кажется Мандельштама, а может Ахматовой? Она не могла вспомнить. Но строка словно гонг открывала занавес прошлого, вводила в давние молодые времена.

Сначала Зара не замечала этих ногтевых полос на полях, когда видно, не было под рукой карандаша. Порой попадались и карандашные черты, иногда короткие реплики, написанные аккуратным твердым почерком. И мнилось ей, что читалось это кем-то за столом в свете настольной лампы. В старые-то добрые времена не таскались с книжкой по эскалатору метро, по автобусам, походя перелистывая страницы, а читали как занятие, устроившись за столом или в кресле, вдумчиво, спокойно.

Это было медленное чтение с размышлением о прочитанном, с паузами, когда взор вперяется в темноту, сгустившуюся в углах комнаты, и мысль, ассоциация обкатывается, как камень в водяном потоке среди других камней. Именно таким образом, как ей казалось, должен был читать этот человек, которого она мысленно называла Бухгалтером. Ей казалось, что так обозначил его профессию Аким Ильич. И это все, что она знала о владельце купленной ею некогда энциклопедии. А спросить было не у кого. Аким Ильич умер. Адрес, по которому он приводил ее для покупки, был забыт, кажется, где-то на Сретенке. А где? Разве упомнишь? Оставалось лишь воображать, представлять себе, как он писал на полях, взяв из стакана, из пучка хорошо отточенных карандашей один, и делал помету.

Впрочем, мог читать, раскинувшись в кресле — старинном, кожаном. Он сидит в свете торшера, почтывая, и когда что-то задевает его, а за карандашом вставать лень, отдавливает ногтем на полях вдоль абзаца твердую черту.

Что занимало этого человека, какие мысли приходили? Со временем она научилась понимать его. Более того, она вела диалог с ним, давно умершим.

Наступил момент, когда Зара решила уходить из Интуриста. Невмоготу стало писать отчеты о разговорах сопровождаемых ею немцев, а потом еще и встречаться с неким почтенным господином, которого переводчицы называли между собой «Некто в сером» так неприметен и одноцветен был он в своем кабинете без таблички, где уточнялись всякие подробности поведения и внутреннего облика иностранцев, — в сером костюме, с серыми, пробитыми проседью волосами, серыми холодными глазами.

Скучно и тошно было все это Заре, и хотя место и по заработку, и по обилию свободного времени считалась завидным, она ушла. Но и дома сидеть в тридцать-то лет при знании двух языков да с ее интеллектуальными амбициями казалось не с руки.

Даня, только что защитивший диссертацию, был поглощен новыми открывшимися перед ним в его НИИ возможностями и жил сам по себе. Сеньку из детского сада забирала свекровь, всегда готовая оставить его у себя на ночь. Литературные переводы, добываемые Зарой далеко не так умело, как это делали многие ее конкуренты на переводческом рынке, бывали лишь время от времени. Словом надо было искать занятие, и оно нашлось. Подруга-журналистка привела ее в отдел культуры городской газеты, где Зара, довольно легко опубликовав несколько рецензий и бесед, вскоре оказалась на положении постоянного, хотя и внештатного работника на гонораре. Там она и познакомилась с Акимом Ильичом.

На чем могла быть основана дружба молодой довольно привлекательной женщины с шестидесятилетним евреем — мелкорослым, худощавым, пригорбленным, вечно сосущим «Беломор»? Подруга — стервозная и острая на язык разведенка — называла таких «папашками». Откуда могло залететь к ней это слово из лексикона проституток начала века, именно так обозначавших пожилых клиентов из разряда «*pater familias*»?

Папашки в редакции водились разные. Тот же Зарин начальник — пожилой игривый еврей, окинув ее при первом же знакомстве оценивающим раздваивающим взглядом и сделав затем несколько разведочных пассивов, после получения «мягкого, но твердого» отпора не только не обиделся, но стал относиться к Заре с подчеркнутым дружелюбием. По своему небогатому женскому опыту она знала этот тип бабников, предлагавших себя каждой сколько-нибудь привлекательной молодой женщине и успокаивающихся в случае отказа с некоторым облегчением, как бы выполнив некий долг.

Но их отношения с Акимом Ильичом даже в этом редакционном мире, пропитанном блядством и веселым цинизмом, вызывали не столько подозрения, сколько недоумение. Зара

бывала у него дома, знала его жену — тихую, преждевременно состарившуюся женщину, ушибленную болезнью сына, прикованного к инвалидному креслу.

То было время внезапно вспыхнувшего в ней интереса к иудаизму.

— Откуда это у тебя? — удивлялся Даня, видя, как в доме появляются папки еврейского самиздата. — Ты и еврейка-то наполовину.

— Я ж не удивляюсь твоему крестьянофильскому народничеству.

— Это у меня профессиональное. Я специалист по экономике сельского быта. За рубежом это называется крестьяноведение.

— Так это ты для крестьяноведения своего читаешь Соловьева, Бердяева, Киреевского? Да и потом дело не в происхождении. Если хочешь знать по Галахе я вообще не еврейка, коль скоро у меня мать полька. Там еврейство признается по матери. Но ты знаешь, это интересно, это целый мир, совершенно неизвестный нам мир.

— Нет, нет, не скажи. Это в тебе предки твои бунтуют. Вот я у раннего Светлова отыскал как раз про тебя...

И он прочитал наизусть с той поражавшей Зару памятью на стихи:

Дед мой мечется от стойки к пану
И от пана к стойке назад.
Пан на влажное дно стакана
Уронил свирепеющий взгляд,
И я вижу в любимом взгляде
Женских глаз, голубей степей,
Как встает их разбойный прадед,
И веселой забавы ради,
Рвет и щиплет дедовский пейс.

— Это в тебе кровь Льва Соломоновича, — заключил он, — побеждает кровь Ванды Ромуальдовны.

Редакция была еврейская. Пожилые низкорослые плотные мужики, в юности прошедшие войну, а после войны, не будучи в состоянии из-за своего происхождения пробиться в большую прессу, сначала оседали в заводских многотиражках, а затем постепенно просачивались в городскую газету, пользуясь удивительным для того времени юдофильским благорасположением редактора — высокого стройного хохла, ухитрившегося не растерять в перипетиях партийной карьеры тайную интеллигентность.

Как-то в разговоре с Зарой об американском литературном модерне двадцатых годов — Хэмингуэе, Гертруде Стайн, Дос Пассосе, он обронил, что всю войну таскал томик Дос Пассоса в вещевом мешке.

Небывало высокий, перекрывавший все нормы, процент еврейской крови в его редакции, отчего Даня, как-то зайдя за Зарой и почитав таблички с именами сотрудников, висевшие у каждой двери, сказал: «Да у вас просто еврейское кладбище какое-то», редактор объяснял очень просто: «Русских, тех, кто поспособнее, вскорости забирает центральная пресса, а евреи остаются...»

Возникал образ все уплотняющейся почвы, эдакого местечкового чернозема, на котором произрастали «цветы необычайной красоты». По заказам горкома, а порой и из собственных карьерных побуждений здесь придумывались всевозможные трудовые почины, считавшиеся важным элементом социалистического соревнования, отчего у редакции и было самоназвание — «починочная мастерская».

Делалось это так: выдумывалась некая формула (годы спустя, уже в новые времена будут говорить на пиаровском жаргоне — «слоган»). Слоган мог быть, к примеру, таким: «С помощью НОТ к высшей эффективности производства!» Что это такое никто толком не понимал. Да и не надо было ничего понимать. НОТ — научная организация труда — являлась очередной партийной игрушкой и считалось, что она должна быть на каждом рабочем месте.

Затем режиссировался спектакль. Брали какого-нибудь передового рабочего, который обращался к своим братьям с этим призывом. Они откликались. Делались расчеты, прово-

дились собрания, принимались обязательства. Словом, мельница работала.

Аким Ильич был гением таких спектаклей, Станиславским газетного масштаба, великим иллюзионистом. Зара в особенности ощутила это, как-то просматривая у него дома подшивку многотиражки военного завода, которую он редактировал раньше. Газета выглядела как общественный центр этого жесткого засекреченного заводского мира. Люди, казалось бы, вполне искренне и умно обсуждали заводские и семейные дела, жили полной и интересной жизнью.

А его визиты на другие московские заводы, куда он приходил уже как представитель городской газеты, вызывали у партийных секретарей счастливую улыбку. Эти циничные грубоватые мордвороты, погрязшие в бюрократических интригах, испытывали состояние близкое к эйфории при виде худенького, сутулого пожилого еврея с грустными опущенными долу глазами. Его появление означало для них знак судьбы, ибо завод превращался в арену блестяще поставленного спектакля, где рабочие обладают государственным мышлением и полны заботы об общественном благе, а начальники мудры, дальновидны и демократичны. Удачное отображение такого спектакля на страницах газеты предвещало рывок в карьере партийного секретаря. Сам же Аким Ильич не получал ничего кроме скромной зарплаты и благоволения редактора.

Эти партийные игры нисколько не мешали жившему в нем национальному чувству и интересу к иудаизму, что, собственно, и сближало их с Зарой.

Еврейство было разлито в редакции как некая пахучая и пряная жидкость — темпераментом, жестами, воспоминаниями о местечке, легким акцентом сотрудников. И Зара не без умиления слышала, как секретарь партбюро, высунувшись в коридор, кричал на идиш вслед уходившему приятелю: «Пора платить членские взносы».

Зная немецкий, Зара понимала идиш и иногда откликнулась на обращенное к ней: «Вус херцог?», воспринимая это как искаженное немецкое «Wie geht es?» — «Как поживаешь?», что вы-

зывало особую симпатию спрашивавшего: «Скажи на милость, она таки знает маме лошн».

Их удивляло ее восточное имя. «Зара? Почему Зара? Ты что армянка? Ты, наверное, Сарра. Хорошее библейское имя». Она молча улыбалась, памятуя, что в раннем детстве ее так и звали Сарра, Сарочка. А потом мать строго настрого запретила отзываться на это имя и помнить, что ее зовут Зара. Она понимала, что такое камуфлирующее переименование шло от отца с его авантюрами. А может, он решил, что так ей легче будет жить.

Аким Ильич, зазывая ее к себе домой, накрутив ручку старого патефона, ставил ей довоенные идишистские пластинки забытых национальных певцов. И рыдания тенора, это горестное «Ой-ё-ё-й» звучало эхом мира, исчезнувшего в пламени Холокоста.

— Когда меня ранило, — рассказывал Аким Ильич, — ко мне в госпиталь приехал отец. Он днями и ночами сидел у моей постели и, когда рана болела особенно сильно, пел мне эти песни — «Аидише мама», «На печурочке огонек горит».

— Легче становилось?

— Представьте себе, боль отходила.

И война, как и довоенный еврейский мир, доходила до Зары эхом этих воспоминаний, деталями рассказов окружавших ее людей, словно светом погаснувших звезд.

Юный солдатик, которому потом в жизни суждено было стать партийным функционером, читает в окопе Дос Пассоса. Еврейский мальчик, получивший офицерские погоны, в госпитальной ночи среди храпящих и стонущих солдат слушает песни своего детства, которые ему напевает отец.

— Не могу себе вообразить, как вы командовали ротой, — говорила Зара Акиму Ильичу.

— Это была не просто рота, это была рота гвардейских минометов — «Катюш».

— Ка-ак? «Катюш»? Я где-то прочитала, что немцы называли их «сталинский орган» — «Stalinorgel». Почему?

— Да они были внешне похожи на орган.

— Орган, изрыгающий пламя. И все же не могу себе вообразить вас в роли командира. Как вы командовали: «Рота стройся».

- Так и командовал: «Рота стройся!»
- И строились?
- Строились.

В книжном шкафу Акима Ильича Зара обнаружила два тома «Еврейской энциклопедии». Она попросила почитать их и впервые ощутила то ностальгическое чувство, которое вызывали у нее эти плотные коричневые книги, на поблекших страницах которых двумя колонками шел тусклый мелкий шрифт с ятями, запах тления и пыли, запах либеральной гуманитарной традиции XIX века, который, кто знает, может, и был золотым веком человечества. Литографии, переложённые папиросной бумагой, длинный список сотрудников, публикуемый в каждом томе... А само имя издателя — двойное имя, бывшее в начале века символом интеллигентности. «О-о, у него был весь Брокгауз — Эфрон». Имена издателей произносилось как одна двойная фамилия. А путешествия по томам от ссылки к ссылке, разматывание сюжета статьи во всех его ответвлениях... Она чувствовала себя Шлиманом, раскопавшим Трою, зрителем, перед которым постепенно приоткрывается занавес увлекательнейшего спектакля, который тебе суждено смотреть долгие годы.

Но у Акима Ильича имелись лишь два тома, а всего их было шестнадцать. С ума сойти... Она бросилась к букинистам, отыскивая старых книжных червей, напоминавших ей героев Борхеса. Они только головой качали: «Чтоб все шестнадцать томов... Это большая редкость. Те, кто имеют такие книги, не расстаются с ними, а умирая, завещают детям». Опрашивала всех знакомых и полужнакомых, сплетая паутину связей, отношений в расчете на то, что кто-то попадет в нее. Наконец, все тот же Аким Ильич сказал: «Может быть, мне удастся помочь вам. Недавно умер мой давний знакомый. Он был простым бухгалтером, но при этом, представьте себе, очень образованным в иудейском смысле человеком. Он всю жизнь читал эту энциклопедию. Детей у него не осталось, и он завещал жене продать ее в хорошие руки».

– Но как же мне доказать, что у меня хорошие руки, — растерянно сказала Зара.

Аким Ильич тонко улыбнулся: «Поедьте к ней, попробуем».

Она запомнила большую коммуналку в переулке у Сретенки. Длинный полутемный коридор, изгибавшийся коленом, заставленный шкафами, с висящими на стенах велосипедами, довольно большую комнату с навошенным паркетом, со старинной мебелью, большой обеденный стол, накрытый плюшевой скатертью, за которым сидела, сложив руки, старая женщина с исплаканными потухшими глазами.

– Да, он читал ее всю жизнь, приходил с работы, обедал и читал, читал. А когда умирал, сказал мне: «Отдай ее в хорошие руки, пусть она послужит какому-нибудь хорошему еврею».

Зара сделала то, чего потом стеснялась. Она вынула фотографию Сеньки, которую всегда носила с собой. Свекровь как-то отправилась с ним в фотоателье, нарядив в кокетливую беретку и яркий шарф. Снимок получился как в витрине провинциального фотографа: упитанный, холеный, нарядный малыш.

Женщина оживилась, тусклая пленка исчезала из ее глаз: «Какой ребенок!» — проворковала она.

– Вы хотите, чтобы этот ребенок был воспитан как еврей, чтобы он, подрастая, читал вашу энциклопедию?

Конечно, это был запрещенный прием, удар ниже пояса, но приходилось действовать наверняка.

– Берите даром, — пылко сказала хозяйка дома, открывая дверцу шкафа, где рядком, один к одному стояли все шестнадцать томов, потрепанные, зачитанные, но еще в приличном состоянии.

Это было уже слишком. Зара просила назвать цену, женщина отказывалась. Наконец, Аким Ильич предложил оценить все тома у букиниста и выплатить названную сумму.

Так энциклопедия попала на книжную полку Зары. Она присовокупила к ней «Историю» Дубнова, тома Греца, кое-что из «Библиотеки Алиа» и на долгие годы отправилась по дорогам еврейской истории. Она плясала вместе с хасидами, верила в приход Мессии вместе с саббатянами, созерцала величественное здание космогонии Исаака Лурии. Все сплеталось в этих странствиях. Время то раздавалось необъятно, то сужалось, концентрировалось в одной точке, где нет ничего кро-

ме страдания и безысходности. Внуки тянули руки к дедам, и история повторялась, плыла в бликах подобий.

Иногда она находила записочки. Почерк у него был косой, буквы словно летят, но четкий и очень расписанный. Порой это было слово на полях, или нота-бене, или отдавленная ногтем черта. И она шла за этими пометами, намеками, следами его мысли...

На полях статьи «Бог» стояло паскалевское: «Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, но не Бог философов и ученых...».

Какой Бог был его? И был ли он для него? А если был, то ветхозаветный Тетраграмматон, чье имя не полагается произносить вслух? Или аристотелевский Перводвигатель, безличный и равнодушный Космос эллинов. Или «Бесконечное», сокрытое в глубинах своего бытия, — Эйн-соф каббалы. Во что он верил, ее бухгалтер?

В другом месте статьи она читала помету «Спиноза» и бросалась к статье о Спинозе, находя там записку следующего содержания. «Его вызов иудейской традиции — лишь эпизод противостояния двух направлений мировой философской мысли. Одно — Аристотель и Маймонид, Декарт и Лейбниц, Спиноза и Гегель. Другое — Платон и Плотин, Паскаль и Кьеркегор, Шестов и Бубер. Первое — ratio, Разум, земное, второе — иррационализм веры, попытка постигнуть небесное. В этом противостоянии вся духовная история человечества. Земное конфликтует с небесным, вера с разумом, тайна с ясностью, мистическое с рациональным».

Господи, кто же он был этот тихий еврей? Где он мог читать Шестова? Ну, ладно еще Паскаля — там XVII век, классика, история философии, это еще как-то издается. Но Шестова, эмигранта, поносимого, как обскуранта, фидеиста, издававшегося только за рубежом.

Она бросилась в диссидентские гостиные в поисках самиздата, долго бродила по разным компаниям, вышла на молодого поэта — истопника, исповедующего новичков, разыскивающих философских истин, у себя в котельной, в сухой тишине и урчанье труб; узнала, что он написал работу о Шестове, выпросила

тамиздатскую книжку и за несколько ночей составила довольно подробный конспект «Афин и Иерусалима».

Шестов оцепенял ее сумасшедшей отвагой мысли, вызовом, брошенным Разуму и видением «духовной истории человечества» как поля брани между Разумом и Верой. Чувство на этом поле спорило с рассудком и в Спинозовском «не смеяться, не скорбеть, не ненавидеть, но понимать» порывалось с пониманием и возвращались законные права смеху, скорби, ненависти. В конце концов, он приходил к живому ветхозаветному богу, к традиции дерзновенного откровения, и Авраам у него шел, не зная куда, потому что он верил в того, кто его вел, знал, что там, куда он придет, будет земля обетованная.

Была ли у самого Шестова вера в первоначальном виде, вера, свойственная его библейским героям? Или все шло от умозрения? Была ли она у нее самой? Иногда ей казалось, что эти ее размышления, эта духовная связь с умершим человеком, когда она часами сидела с ногами в старом кожаном кресле, грызла ногти, эти странствия по страницам энциклопедии, пробуждали в ней чувство непрерывности существования, и вернуться в Единое, в Бесконечное, раствориться в нем казалось не страшно и естественно.

Даня в благодушном обеденном подпитии изрекавший иногда вещи довольно занятные, как-то сказал: «Когда некая страсть чужда тебе, невозможно понять, как люди находят возможности ее удовлетворения. Вот, скажем, я начал собирать монеты. Ну откуда брать их, где найти людей, которые занимаются тем же самым? Но стоит тебе по-настоящему войти в это, как и среда появляется, и способы отыскания монет находятся. Если страсти или, редуцировав определение, скажем, увлечения — нет, все это проходит мимо тебя, остается скрытым под пеленой действительности. Но вот чувство одолевает тебя, ты вглядываешься в мир и находишь объект своей страсти, он открывается перед тобой в увеличенном масштабе. Это как на глобусе Воланда... Помнишь в «Мастере»? Маргарита склоняется к глобусу и видит, как квадратик земли превращается в рельефную карту, на которой что-то стало

происходить — взрыв, гибель ребенка... Страсть открывает и одушевляет мир».

Зара чувствовала себя одинокой в этих своих религиозно-философских чтениях. Не было ни «советчика, врача...», ни собеседника, ни среды. Она понимала, что где-то есть мир, где все, что ее занимало — Платон, Плотин, каббала — является объектом науки — пишутся книги, защищаются диссертации, читаются лекции. Но мир этот был далек от нее, да и к тому же укутан покрывалом идеологии.

Один чиновный социолог, у которого она брала интервью, сказал ей в порыве кокетливой откровенности: «Для того, чтобы провести одно скромное социологическое обследование даже со скорректированными результатами и опубликовать эти результаты в виде книжки, нам надо метнуть три «кирпича» с критикой буржуазной социологии...»

У церковных иерархов — будь то христианские священники или раввины — имелись свои ограничители, своя догматика.

Но вот, как-то перелистывая в редакционной библиотеке историко-философский журнал, единственным читателем которого она здесь была, Зара наткнулась на статью некоего Гурама Гургенидзе из грузинского академического института философии. Статья была о псевдоэпиграфике — этом плагиате с обратным знаком — столь распространенном в средние века приписывании религиозно-философских сочинений древним авторитетам — пророкам, законоучителям и другим боговдохновенным личностям. В этой пестрой смеси текстов — библейских, апокрифических, апокалиптических — Гургенидзе выделял два великих сочинения, чьи авторы были так плотно закамуфлированы, что их подлинные имена стали предметом догадок, исследований и всевозможных умствований на протяжении нескольких столетий. Первым таким сочинением была знаменитая Книга сияния — «Зогар» — своего рода энциклопедия каббалы иудейского законоучителя II века Шимона бар Йохая, вошедшая в духовный оборот в XIII веке при обстоятельствах в высшей степени загадочных. А вторая — корпус текстов ученика апостола Павла, первого христианского епископа Афин, жившего в I веке

Дионисия Ареопагита. Приписываемые ему тексты впервые появились в V веке, оказав огромное воздействие на христианскую религиозную мысль.

Грузинский исследователь усматривал поразительное сходство не только в судьбах этих двух сочинений, но и в круге воодушевлявших их мыслей, представлявших собой, по его мнению, прорыв неоплатонизма в иудейскую и христианскую догматику.

Зара внимательно прочитала статью, почувствовав в ней волнующий запах тайны, следы драматических сюжетов, что несла в себе история философии, как, впрочем, и любая история саморазвертывания духа.

Такого рода философско-исторические чтения с явно выраженным религиозным подтекстом, постоянно открывавшие перед ней новые имена и сюжеты, как-то скрашивали постоянно ощущаемую ею горечь жизни, заполняли духовное пространство, пустота которого ощущалась при всех ее занятиях — переводах, газете, семье.

Когда она впоследствии вспоминала эти годы, они казались ей залитыми ровным безжизненным светом, сродни тому, что заливал, по рассказам каббалистов, Вселенную до того как началось Творение, пока в недрах Эйн-Соф — Бесконечного — не произошло сжатие, породившее тварный мир.

Даня, пытаясь как-то расшевелить ее, вывести из состояния печальной сосредоточенности, погруженности в свои мысли, брал ее в свои сельские командировки. В ней что-то оставалось от этих поездок, входило в смутные ее видения, и мир казался также залитым светом, только более теплым, ясным, не таким безжизненным как тот космический из каббалистических представлений.

Вдруг представлялся мост через речушку на выезде из райцентра, деревянный, с досками настила, избитыми колесами. И едут они с Даней на уазике на ту сторону реки, а там вдали — кайма леса, поля парят на весеннем солнце, и воздух колеблется и истекает от земли вверх к небу белесому, но уже теплому, с пробиваемой солнцем голубизной. Едет Зара, едет на под-

прыгивающем уазике, держась за ручку в кабине у ветрового стекла, а городок остается позади с вывесками райучреждений, с домами и завалинками, с поленницами и стогами во дворах, со скудными прилавками магазинов и пустыми в это рабочее утро улицами.

Она подолгу гуляла с Сенькой, совсем еще тогда маленьким, четырехлетним. Брала его и Алешу, такого же возраста ребенка соседки, замордованной работой и пьяницей-мужем, и выходила с детьми во двор. Это был проем между двумя хрущевскими панельными пятиэтажками, где стоял стол, окруженный доминошниками, в луже часто валялся кто-нибудь из сомлевших жэковских работяг, а на скамейках у подъездов сидели старухи.

Дети уходили в песочницу или на качели, поскрипывавшие поодаль от доминошного стола, а Зара садилась рядом со старухами, продолжавшими свои неторопливые пересуды, как бы не замечая ее.

Почти все обитатели дома были переселенцами из пригородной слободы, прожившими жизнь в старых барачных домах с палисадниками и огородами, с проулками, где летом босая нога утопала в мягкой теплой пыли, а зимой оставалась лишь тропинка среди пухлых сугробов. Когда город подступил к ним и дома уходили под снос, несколько улиц, словно слой травяной земли, подрезанный лопатой, так что с оборота дышит влажная чернота, и ветвятся корни растений, краснеют земляные черви, перенесли на другую окраину, застроенную домами, которые впоследствии стали называть хрущобами, и вселили в один квартал.

Его обитатели продолжали жить также сплоченно, как в слободе. Мужики сообща пили и обсуждали футбол, бабы выносили им во двор закуску — кислую капусту и соленые огурцы, сами не отказывались от «красенького» хотя и ругали мужей за безделье, виня их в безогородном бездобычливом житье. А старухи жили в пространстве старых дружб и ссор, корили себя за редкие посещения родительских могил.

Сенька и Алешка были первыми детьми, родившимися в этом дворе, и когда Зару привезли из роддома, встретить ее высыпала

целая толпа старух — поздравляли, крестили, умиленно заглядывали в сверток на даниных руках, расспрашивали об имени. Старый же слободской юродивый, все лето сидевший на скамейке в валенках и телогрейке, когда к его ногам подкатывался клубок играющих детей, выходил из своего полузабытья и бормотал вполне явственно для Зары: «Котята... А имена хорошие, христианские имена — Алексей, божий человек, Симеон-столпник». Старухи относились к нему с почтением. Некогда он был то ли дьячком в слободской церкви, то ли сыном священника.

А Зара так и плыла по волнам ассоциаций, вызываемых этим старческим бормотаньем. Так и вспоминались читанные некогда житийные рассказы с их погружением в сладость скорби, с упоением слезами и добровольным растравлением сердца. Вот Алексей, «человек божий из Рима», единственное нежно любимое чадо богатых родителей в ночь свадьбы бежит из дома, нищенствует в святом сирийском городе Эдессе, и, изменившись до неузнаваемости, в лохмотьях и язвах возвращается к отеческому дому, где живет при нем как подкармливаемый из милости бродяга. Над ним глумятся слуги, а родители и молодая жена томятся по нему, ничего не зная о том, куда он исчез, и лишь потом узнают его, уже умершего, и рыдают над мертвым телом.

Сколько умиления и жалости пробуждали некогда такие рассказы. И молился христианин, испрашивая у Господа слезный дар любви и погружения в себя, в глубины своей измученной души.

А Симеон-столпник, сорок пять лет простоявший на узкой площадке на столбе в сирийской пустыне, ставшем со временем не только местом уединения и аскезы, но и проповеднической кафедрой, откуда гремели его речи, обличающие богатых и неправедных...

Но как на такое мирозерцание, выразившее себя в понятиях страдания, греха и жертвы, накладывалась эллинская аттическая мудрость, неоплатоническое умозрение с его холодными и ясными восторгами растворения в Едином, как наложилась ареопагитская апофатика — отрицание всякого имени, всякого качества этого Единого — на образ любящего и гневающегося, окликающего человека и внимающего ему Бога?

И снова к ее ногам подкатывались дети, напоминающие о древе жизни, что вечно зеленеет, бормотал юродивый, от стола доносился стук костяшек домино и торжествующие крики игроков. Надо было идти домой, готовить обед, кормить Сеньку, ждать Даню с его рассказами об институтских интригах. Надо было жить.

Она написала письмо Гургенидзе, попросив ответить на некоторые возникшие у нее при чтении статьи вопросы. Он ответил, завязалась переписка.

Гурам — Заре. «Мы с вами размышляем над одними и теми же проблемами. Только ваши размышления идут в рамках иудейской мистики, а мои — христианской».

Зара — Гураму. «Разве мистика может быть конфессиональной?»

Гурам — Заре. «Конечно же, в своих внешних формах мистический процесс развивается в рамках определенной религии. Если иудей медитирует над текстом Торы и буквы еврейского алфавита являются для него своего рода шифром, несущим божественную информацию, то мистические переживания христианина связаны с личностью Спасителя, со страстями Господними, повторяющимися в личном переживании медитирующего. Но корни, истоки, я думаю, общие».

Зара — Гураму. «Кто они были? Кто был на самом деле человек, укрывшийся под именем Дионисий? Как он мог выдвинуть свою неоплатоническую концепцию еще до рождения Плотина и почему его сочинения были неизвестны пять веков? Кто был автор «Зогара», почему эта великая книга, приписываемая рабби Шимону, жившему во втором веке, вошла в мир лишь тысячу лет спустя? Гершом Шолем, этот основатель науки о каббале, доказывает, что истинным автором «Зогара» был испанский каббалист XIII века Моше де Леон. Вот о чем бы нам поговорить...»

Гурам — Заре. «Надо увидеться. Я не могу сейчас выбраться в Москву. Приезжайте в Тбилиси. Вы будете моей гостьей. Приезжайте!»

Все устраивалось в соответствии с рассуждением Дани о страсти,

открывающей и преобразующей мир. Все устраивалось просто и легко, будто бы кто-то ворожил их встрече — командировка от искусствоведческого журнала, сенькины каникулы, на которые свекровь брала его к себе. Все вело ее в Тбилиси, к этому человеку, непонятно каким образом появившемуся в ее жизни.

Он встретил ее в аэропорту и вез в гостиницу на старых немых «Жигулях». Ехали в смущенном молчании, искоса поглядывая друг на друга, иногда чуть улыбаясь, но тут же сгоняя улыбку с лица. Уж слишком много было наговорено в письмах, слишком много открыто, казалось бы, чисто интеллектуального, философского и, вместе с тем, оба понимали — и глубоко личного, обнажающе духовного. Не так-то просто было совместить их философские воспарения с обыденным видением друг друга.

Она видела молодого грузина с крупной головой на щуплом теле, с глубокими черными глазами и хорошо вылепленным мужским лицом, крупным носом, впалыми щеками. Его тонкие холеные руки покойно лежали на баранке руля, легко и уверенно управляя машиной. А перед ним была интеллигентно-еврейского типа женщина лет тридцати пяти, с какой-то неясной тревогой в глазах, начинающая полнеть, но еще сохраняющая женскую статью.

Как странно, думала Зара, переписка, родство душ, нечто старомоднее, из прошлого века, сорвалась с места, придумала командировку, примчалась, может это у меня причуда стареющей бабы, как бы этот интеллектуальный роман не превратился в обычный адюльтер, но нет, он моложе меня, лет на семь-восемь моложе, и вообще какая пошлость, роман с грузином, это в Сочи бывает, в Сухуми, пляжные романы с пылкими грузинами... Нет, нет, это было бы ужасно...

Закружилось, поплыло с тем, чтобы в воспоминаниях остаться потом на всю жизнь, как романтическая вспышка, солнечный удар, чтобы слово «Грузия» потом всю жизнь отдавалось в памяти запахами, красками, пленительной гортанностью речи и артистизмом жеста. Он открывал ей людей, компании, город, и эти люди и город были им, как и он — ими.

Город проступал сквозь скучное блочно-панельное много-

этажье современных кварталов в своем старом обличье со скрипучими деревянными лестницами, ведущими на открытые или застекленные галереи; с полдневными запахами баранины и жареного лука, с бочками вина, наливаемыми в кувшин в тесных подвальчиках, истинно грузинского вина, вина «божественного вкуса, без капли воды», понимаешь, «без капли воды»; с осликами, везущими огромные корзины с зеленью; с ликами пиромановских кутил, поднимающих роги с вином — «слава Богу, дожили до пасхи!»; с синим сумраком, наступающим, когда солнце скрывается за изломами горных хребтов, и приносящим вечернюю прохладу; с гранитной скалой, вершина которого окаймлена стенами Метехского замка; с домами, фундаментом которых служат скалы омываемые водоворотами Куры.

Он дарил ей вид, облик, краску, момент бытия. И в ранний утренний час, провозжая ее в гостиницу после ночного застолья мог прочесть из Леонидзе в переводе Пастернака:

За тифлисской цитаделью —
Пепельное небо.
Утро, фрукты, свежесть хлеба,
Свежее похмелье.

Годы спустя, вспоминая этого мальчика, а он виделся ей и мальчиком, и мужчиной одновременно, и думая о его странном и трагическом конце, Зара понимала, что он был, в сущности, счастлив, во всяком случае, в тот период жизни, когда они познакомились.

Он был своим среди своих в элитарной духовной среде, жившей на высоком градусе интеллектуального накала с несколько театральной драматизированностью, свойственной национальному характеру. Аристократизм грузинской культуры соединялся в этой среде с аристократизмом европейского интеллекта, подогреваемого поколениями отцов и дедов, проведенными молодость в парижских и мюнхенских кафе и впитавших мировую культуру в европейских университетах. Драма состояла еще и в том, что те, кто из этих отцов и дедов не был уничтожен

властью, пошли на компромисс с ней, и, будучи сломленными, писали и говорили то, что от них ожидалось.

Отец ближайшего друга Гурама — филолога, диссидента, ощущающего свое мессианское призвание красавца с поволокой глаз, сводившей с ума женщин — так вот отец этого гурамова друга — классик грузинской литературы, бросившей некогда вызов этой власти, чудом уцелевший и даже по какому-то капризу тирана обласканный, жил в затворничестве, в жестокой меланхолии в своей «колхской башне», и увидеться с ним при всем желании Зара было невозможно.

— С кем хочешь познакомлю, только не с ним, — сказал Гурам (на второй день они съехали на «ты»), таская ее по мастерским художников, по театрам и церквям, по пестрым кампаниям, где пилось, громогласно спорилось и хозяева при входе гостей непременно целовались с ними. Ее воспринимали как московскую женщину Гурама, что опровергнуть, естественно, было невозможно, да и характер их отношений был неясен им самим.

У этой вольготной жизни имелась материальная основа (прожить на скудные гонорары и зарплаты было явно невозможно) — связь с деревней, покармливавшей своих городских отпрысков, или теневая экономика.

Отец Гурама, солидный немногословный чиновник (Зара и с ним была познакомлена), живший в атмосфере клановых связей, видимо гордился своим сыном-философом, во всяком случае, оберегал его от материальных забот, иначе, откуда взялась бы машина и однокомнатная квартира в центре города.

Но был еще и духовный отец, кумир, учитель, недавно умерший, но тенью своего имени, своего прошлого стоявший над Гурамом. К его вдове они отправились в первую очередь.

Величественная старуха в черном в большой сумрачной комнате со старинным башенным буфетом, огромным столом, хранившим память о людных трапезах и так пустынно выглядевшим со скромным вдовьим угощением — сыр, вино, варенье, кофе. Поцеловала Гурама в лоб, а он ей — руку. «Все как в лучших домах», — подумала Зара, но ирония вскоре улетучилась, так серьезно и грустно было в этом доме.

После кофе перешли в кабинет, где тускло пылилось зеле-

ное сукно письменного стола, мерцали золоченые корешки разноязыких томов за стеклом книжных шкафов и тяжелые занавеси закрывали окна. Луч полдневного солнца падал сквозь щель между ними, высвечивая писанный маслом портрет хозяйина — седые кудри из-под академической шапочки, крупные морщины на властном восточном лице. Квартира, вдова, портрет — все в тон музейной легенде жизни этого человека, о которой Гурам рассказывал Заре.

В 37-м Учителя арестовали. Ну, как было не арестовать его, типичного старорежимного профессора? Он преподавал философию при царе, при меньшевиках, в молодости учился в Германии. Сажали людей и с более скромной биографией.

Из тюрьмы он писал письма Сталину. Сталину писали многие, прося разобраться в их деле, уверяя, что они не враги народа, не агенты германской или английской разведки, а честные советские люди. Но Учитель просил вождя народов дать ему в тюрьме возможность заниматься переводом Руставели. Он обращался к Сталину раз, другой, третий. В конце концов, ему дали карандаш и бумагу. Все написанное время от времени забирали, а потом возвращали. Потом профессора освободили, и он встретился со Сталиным. Они сидели вдвоем, два пожилых грузина, и говорили о переводе «Витязя в тигровой шкуре». Вождь народов знал толк в поэзии, а особенно в грузинской, сам когда-то писал стихи. Он предложил свои варианты некоторых строф, которые, как говорят, и вошли потом в каноническое издание. Гурам прочитал Заре строки, принадлежавшие Сталину.

Бросил меч, схватил тигрицу
И привлек в свои объятия.
В память той желал лобзаний,
От кого огнем объят я.
Но тигрица прорычала
Мне звериные проклятья,
И убил ее нещадно.
И безумцем стал опять я.

Учитель был известен как создатель теории Восточного Ренессанса, который толковался этой теорией как неоплатоническое возрождение. Токи религиозно-философской мысли шли из Византии, из Греции. Плотин был грек, Прокл был грек, и Ориген писал по-гречески. Греки составляли гордость духовной жизни Византии, ее страстного богопознания. Но главный-то, славнейший, великий, кого на Западе можно было сравнить разве что с блаженным Августином — Дионисий Ареопагит — создатель апофатического богословия, учения о небесной и церковной иерархии, названный за это впоследствии «иерархическим доктором» — он-то кто? Грузин, трижды грузин, утверждал Учитель. Грузинский царевич, внук первого грузинского христианского царя, отданный отцом в залог, в аманаты, в знак верности и союза в Византию (давний восточный обычай, товарищ Сталин бросал в лагерь жен своих ближайших сподвижников, не убивал, а бросал в лагерь — в залог). Царевич рос при дворе, впитывал там византийскую ученость под руководством своего учителя лаза (стало быть, тоже грузина). И дальше все как в житийных сказаниях. Император Феодосий II и царица Евдокия любили молодого грузинского царевича, наделили его высокими придворными должностями, но он бросил все и тайно ушел в монастырь. Вдвоем с лазом бежали они из столицы империи и в Иерусалиме приняли монашество, обретя новые имена — Петр и Иоанн. Так они и вошли в историю религиозной мысли, как Петр Ивер и Иоанн Евнух.

В 1952 году один бельгийский византолог сделал на конгрессе в Нью-Йорке заявление, взволновавшее научный мир. Он сказал, что найдены доказательства того, что автором знаменитых сочинений Псевдо-Дионисия Ареопагита является живший в V веке грузинский монах Петр Ивер. Бельгиец уже высказывал такое предположение, но сейчас выяснилось, что к такому выводу десятью годами раньше пришел неизвестный ему грузинский ученый, о чем византолог узнал из библиографической заметки о недоступной ему, к сожалению, книге этого ученого.

Здесь все многозначительно. И отрезанность грузинской науки от мирового ее течения (год-то, обратите внимание,

1952-й); и порядочность бельгийца, называющего имя первооткрывателя того, что доселе приписывал себе; и сама важность открытия, которое должно было поставить точку в истории многовековых поисков истинного автора учения.

Вообще-то эта история началась в 532 году на Константинопольском церковном соборе, где были предъявлены сочинения, подписанные именем афинянина первого века Дионисием. Он был членом судебной коллегии города — ареопага и потому назывался Ареопагитом, а сочинения впоследствии получили названия ареопагитик.

Его имя упоминается в Новом Завете, в Деяниях апостолов. Когда Павел проповедовал в ареопаге от имени «неведомого Бога», среди немногих уверовавших оказался Дионисий. Несколько веков спустя, возникло предание, в соответствии с которым он был первым христианским епископом Афин. Выйдя из мифологической тьмы, это имя ряд столетий отождествлялось с одним из важнейших достижений религиозной мысли, пытавшейся осознать отношения Бога и человека.

— А какова сфера ваших научных интересов, — церемонно спросила вдова Учителя, рассматривая Зару со строгостью свекрови. — Впрочем, Гурамчик кое-что говорил. Вы занимаетесь иудейской мистической философией.

— Да-да, — сказал Гурам, — Зару интересуют те же процессы, что и нас, только в иных национальных и конфессиональных рамках.

— Философия всегда национальна, — наставительно произнесла вдова. — Оппоненты моего мужа полагали, что национальной науки не существует — есть просто физика, биология, философия — и советовали ему назвать книгу не «История грузинской философии», а «История философской мысли в Грузии». Но он считал, что философия, как научное мировоззрение, больше других наук связана с культурой и языком народа, в котором она развивается. Да и как иначе? Я грузинка во всем — мышлении, культуре, религии... И Гурам... Посмотрите на него. Он грузин во всем. А вы еврейка?

— По отцу. По матери я полька.

— А кем вы себя чувствуете?

— Скорее еврейкой.

— Ну да, конечно. Расскажите о ваших штудиях.

Называть «штудиями» скромный дилетантский интерес Зары к религиозной философии иудаизма, это было, пожалуй, сильно. Тем не менее, она, осторожно выбирая слова, начала рассказывать о «Зогаре», этом мистическом романе, полном средневекового сюрреализма, загадочных образов и ассоциаций, уходящих в глубины библейской мифологии.

Герои Книги — законоучитель второго века Шимон бар Йохай, которого религиозная традиция непостижимым образом считает автором «Зогара», сын рабби Шимона Эльазар, их окружение. Они обитают в Палестине, живут в каком-то невероятном духовном напряжении, в иступленных попытках познать тайную жизнь Бога, которая открывается в толковании Торы, в восприятии ее мистического света, в постоянных историософских размышлениях над Творением, Откровением и Избавлением.

Гурам слушал, сидя в глубоком кожаном кресле, подперев голову ладонью, так что глаз его не было видно. А вдова не отрывала взгляда от лица Зары, и этот глубокий взор словно вбирал ее в себя, завораживал, так что Зара слышала свой голос отдельно, словно кто-то другой повествовал об этой загадочной Книге, которая воспринималась не столько философски, сколько поэтически всей магией своих не всегда понятных образов и ассоциаций.

В ней предстала Палестина времен Христа и антиримских восстаний. Но это была какая-то ирреальная и вместе с тем романтически спокойная страна с пустынными горами и ущельями, с дорогами, по которым редкие путники едут на ослах, с пещерами, куда праведники укрываются для молитв и медитации, с фиговыми деревьями, в тени которых ведут неторопливые беседы, и чьи плоды подкрепляют уставших собеседников так, что о хлебе насущном заботиться не надо.

Если нужно послать весть, пишут записку и отдают ее голубю. Он летит, держа записку в клюве. Иногда появляется Элиягу — Илья пророк. Он может явиться в облике погонщика мулов, и те,

к кому он пришел, не сразу догадываются, кто перед ними. «Святой, благословен он» мог послать его унять слезы плачущему праведнику, и Элиягу утешает его добрым отеческим голосом: «Ой, раби, раби...» Потом он исчезает в вихре огня.

В полночь перед деревом, где сидят праведные, может появиться лань и прокричать человеческим голосом: «Восстаньте, бодрствующие!»

Иногда слышен голос Господень: «Скалы крепкие, молоты подъятые! Вот мастер оттенков, плетущий изображения, поднялся на трон!»

И все полно символов и тайн. И потаенный смысл Торы течет под корой Бытия.

Спустя четыре столетия по этой палестинской пустыне брели два путника в черной монашеской одежде — Петр Ивер и Иоанн Евнух. Они шли от монастыря к монастырю, где им давали ночлег, и жить им впредь предстояло не среди блеска и интриг византийского двора, а в монастырской тиши и уединении, в молитвах и размышлениях о непознаваемости божественного начала, запечатленных впоследствии в текстах под именем Ареопагита.

Так же когда-нибудь будет идти по дорогам гористой и пустынной Испании XIII века в свой последний предсмертный путь истинный автор Книги Сияния Моше де Леон. И все попарно и параллельно складывается в этих сюжетах, протянувшихся на многие столетия — Дионисий Ареопагит и Шимон бар Иохай, Петр Ивер и Моше де Леон — мнимые и истинные авторы великих книг и первооткрыватели их имен — Гершом Шолем и Учитель, и, наконец, Зара и Гурам — со своими жизненными линиями, своими страстями и размышлениями, сидящие в просторной сумрачной тбилисской квартире перед восточным ликом Вдовы.

В предотъездную ночь произошло то, чего Зара так страшилась, и что низводило всю эту поездку на уровень пошлого адюльтера, романа стареющей бабы с молодым грузином.

На утро он вез ее в аэропорт точно также, как за неделю перед тем вез из аэропорта на тех же немых раздолбанных

«Жигулях», и снова молчание висело над ними, смущенно отчужденное молчание, полное бега их смутных мыслей. Иногда Гурам, не отрывая взгляда от дороги, касался ладонью ее кисти, но рука Зары не отвечала на это осторожное поглаживание, и веки были также неподвижны и опущены. Не ответила она и на его прощальный поцелуй в проеме коридора, уводившего на посадку в самолет. Это было все. Все и навсегда, чего она, конечно, не могла знать, но почему-то предчувствовала.

Месяц спустя пару раз раздавались звонки. «Вас вызывает Тбилиси» — говорил казенный голос телефонистки, но в ответ на ее вопрошающее «Слушаю» — слышалось лишь потрескивание междугороднего эфира, того почти физически ощущаемого холодного пространства, что разделяет людей на планете.

Когда Грузию захлестнула перестроечная волна, выкинувшая на самый свой гребень волоокого красавца-диссидента, дружбой с которым так гордился Гурам, Зара, прислушиваясь к звону этих событий, все пыталась расслышать имя гурамово в окружении новоявленного вождя нации, но не слышалось, не узнавалось это имя.

За пару лет перед их с Даней отъездом в Германию, когда российская жизнь накрывалась ностальгической пеленой воспоминаний, Зара оказалась в Тбилиси, напросилась на проходивший там международный переводческий семинар, на что имела все права, так как определенное имя в этом мире у нее уже имелось.

Город поразил ее изменившимся обликом, потерей того обаяния, которое некогда так пленяло ее в их с Гурамом медлительных прогулках. Панельные четырехэтажки стояли на окраинах черные от копоти буржеек, которыми отапливались квартиры. Цены на дрова и керосин были предметом постоянных обсуждений. У интернет-кафе на проспекте Руставели протягивали руку нищие, и здесь же рядом с дорогими бутиками беженки торговали картошкой и помидорами. Мимо шли, прислонив к уху мобильник, холеные модно одетые молодые грузинки.

В Верийском квартале Заре показали развалины дома классика грузинской литературы — сгоревшие стены, провалившиеся полы той самой «колхской башни», в которой некогда замкнулся знаменитый старик. Зара вспомнила, как Гурам рас-

сказывал, что он мечтал сделать единственного сына главой грузинской церкви и даже пытался интриговать, готовя своему наследнику высокую церковную карьеру. Сын же стал свободно избранным президентом Грузии пятнадцать лет спустя после смерти отца. Ну а Гурам-то что? Что случилось с этим мужчиной-мальчиком, ночь с которым стала таким мучительным и вместе с тем сладостным воспоминанием Зары, затмившим все их совместные философские штудии.

Она отыскала дом Вдовы, не надеясь застать в живых эту уже в тот ее приезд старую женщину. Но к изумлению Зары старуха сама открыла ей дверь, почти не изменившись в своем черном вдовьем уборе. В ее строгом взоре промелькнула усмешка. «Вы, наверное, не ожидали застать меня живой — медленно проговорила она, словно читая зарины мысли. — Но вот ведь странность: молодые погибают, а я, старуха, живу». И Зара поняла, что Гурама нет на этом свете.

— Он ушел в горы с нашим президентом, — продолжала Вдова, не называя имени того, о ком говорит, словно подразумевая, что есть только один человек, о котором у них с Зарой и может идти речь. — Он ушел в горы с нашим президентом, и там же погиб вместе с ним. Он был верен ему, когда тот был у власти, и остался верен, когда власть была потеряна. Он был его советником, другом, нянькой в его нервных срывах. Перед отъездом — да-да, перед отъездом, перед отступлением, если хотите, а не перед бегством, как говорят враги, Гурам заходил ко мне в своей военной одежде и с оружием.

— Не могу себе представить его с оружием, — сказал Зара.

— И я не могла. Он был философ, любимый ученик моего мужа. Но он стал воином. Во всяком настоящем грузине живет воин. Он помнил о вас. И просил передать вам, если вы когда-нибудь объявитесь, что помнил о вас. Нет, он не говорил, что любил, — уточнила Вдова. — Помнил. И просил отдать вам все, что вы захотите взять из оставленных им у меня его книг. Они в кабинете.

Зара пошла в кабинет, все тот же памятный ей кабинет с зеленым сукном стола и портретом Учителя, и долго перебирала книги, находя пометки Гурама, как когда-то находила пометки

бухгалтера. Она взяла старинное издание Ареопагита и роман классика грузинской литературы «Похищение луны». В романе был отчеркнута страница, на которой рассказывалось, как молодой аристократ, вернувшийся из эмиграции в Грузию бросается ночью в горную реку, и плывет в ее яростном лунном кипении до самого своего конца.

СЛЕД ФЕТВЫ

После смерти Зары, Дане снился один и тот же сон. Он слышит дыхание жены, видит, как подрагивают веки, как ходят под ними тени снов, как горестно сжимаются и шепчут что-то губы. С мучительно резкой внимательностью он всматривается в ее лицо и вдруг видит, как оно каменеет, застывает, обостряются черты, жизнь под веками, под кожей прерывается, куда-то уходит. Она умерла. И тут он просыпается и понимает, что она действительно умерла. Ее нет уже давно и невозможно понять, где она. Должна же она где-то быть. Даня лежит в холоде и темноте ночи, не чувствуя присутствия жены. Ее нет нигде.

Теперь они жили вдвоем с Сенькой в двухкомнатной квартире в доме, расположенном по соседству со знаменитой берлинской тюрьмой Моабит. Даня вел хозяйство — готовил, прибирал, покупал продукты. Уходя вечерами, он оставлял сыну ужин, закутанный в старое ватное одеяло. Можно было купить термос, но так делала Зара, когда он в Москве поздно приходил из института. Казалось, что кастрюля в одеяле лучше сохраняет живое тепло еды, особенно той простой еды, которую готовил Даня — борща, тушеного мяса с картошкой, гречневой каши. Сын вяло принимал его заботы. Он как-то потускнел после смерти матери, стал молчалив, никуда не ходил, разве, что иногда ночевал у своей фройндин — простоватой русской немки, работавшей вместе с ним в компьютерной фирме.

Берлин принял Даню в свое лоно, как никогда не принимала Москва. В Москве все, что наполняло его существование, было плотно пригнано друг к другу как кирпичи в стене — работа, дружеские связи, бытовые дела. Он ездил по привыч-

ным маршрутам, не видя ни улиц, ни людей. И улицы, и люди были частью его самого, неосязаемые как воздух, которым дышишь. Он жил в замкнутом пространстве своих дел, мыслей и отношений. В Берлине все разомкнулось, распалось, и Даня остался наедине с городом.

Он унаследовал от Зары необременительную службу, вернее приработок, отнимавший несколько часов в день. Служба состояла в просмотре русскоязычных газет и журналов и отыскании в них сюжетов для небольших и по возможности занимательных компилятивных статей, которыми он под разными псевдонимами заполнял рекламный еженедельник. В соседней комнате ссорились или ворковали по телефону рекламные агенты — бойкие средних лет дамы, которые, собственно говоря, и являлись главными фигурами в этом издании, приносящим некоторую прибыль за счет их предприимчивости. Имелся еще хозяин — ласковый прижимистый хохол. Но в редакцию он заходил редко, будучи занят другими своими предприятиями — туристическим бюро, продуктовым магазином, залом игровых автоматов.

Отстучав на компьютере пять-шесть тысяч знаков, Даня уходил на улицу, часами бродил среди лепных фасадов центра, унылых бетонных кубов предместья, фруктовых натюрмортов прилавков, тендов витрин, скверов с позеленевшими памятниками, парков с бегунами и сонными бомжами на скамейках. В дешевой харчевне можно было съесть донеркебаб — толстую лепешку, набитую овощами и бараниной, выпить банку пива.

Дома он лежал на узком диване в полудремоте, населенной звуками законного мира — щебетом черных дроздов, перекличкой детей, грохотом крышки мусорного контейнера — и образами прошлой жизни — лицами и голосами забытых, а подчас и умерших людей, отрывками песенных мелодий, дворами его детства. Все это плыло, смешивалось, опускало в сон, глубокий, но не освежающий.

Он унаследовал от жены не только газетную службу, но и пеструю амальгаму ее религиозно-философских интересов вместе с сюжетами, занимавшими Зару всю жизнь. Среди этих сюжетов была прижизненная и посмертная судьба Моше

де Леона. Из привычного ему русского религиозного философствования Даня уходил в словно бы завещанную женой иудаику: от Владимира Соловьева и Сергия Булгакова к туманным смыслам «Зогара». И вызовом прошлого, чередой совпадений, вносящих в жизнь мистическую динамику, потянулась в его берлинской жизни история Иоганна Шуберта с ее случайными встречами и трагическими приключениями мысли.

Все началось с Лени Рифеншталь. Потсдамский киномузей устраивал просмотр ее «Триумфа воли», этого зловещего киноотчета о нацистском рейхспартайтаге в Нюрнберге, увенчанного в свое время международными наградами, растасканного по киноцитатам. Даня видел этот фильм в середине девяностых в Москве на фестивале кинематографа тоталитарной эпохи. Там одновременно крутили «Путевку в жизнь» и «Юный гитлеровец Квекс», «Музыкальную историю» и «Придворный концерт», упиваясь сопоставлениями: «А у нас, а у них...»

Теперь Даня решил посмотреть «Триумф» во второй раз. У входа в готическое здание музея стояла толпа. Билетов не было. Даня показал визитку своего еженедельника. Это подействовало, пропустили бесплатно, принесли приставной стул. И он сидел два часа, запрокинув голову перед огромным экраном, оглушенный, парализованный взрывами ликования человеческих масс, волнами обожания, гипнотической власти и вообще всего этого толпового антуража, который его и мучил, и завораживал одновременно.

На следующий день была пресс-конференция самой Лени, которая оказалась жива и в свои 97 выглядела женщиной — с живыми острыми глазами и фигурой, сохранившей женскую стать. Она сразу же отсекала, видимо, привычное ей — спала ли она с фюрером: «Нет, не спала». И в остальном отвечала точно и жестко, уходя только от одного основного вопроса: соблазн был или принуждение в ее неистовом воспевании нацизма.

В пятидесятые годы она много ездила по Африке, в залах киномузея висели ее огромные нубийские снимки — красные скалы, песок, голые, словно высеченные из коричневого камня люди. И все это — племенные ритуалы, мускулистые тела,

кровь, страсть, драки — в животной первооснове бытия сходились, сплеталось с тем, что пленяло ее в молодости — крепкие свежестриженные затылки, литой упругий шаг парадов, восторженный рев толпы и ласковое прозрачное безумие в глазах фюрера.

После просмотра Даня вышел в ночь, в дождь, в прусско-гэдэровскую глухомань, где старинные обветшавшие дворцы соседствовали с блочно-панельным жильем, своей пресностью и выхолощенностью напоминавшим городские окраины его прежней московской жизни.

Сразу же потеряв ориентировку, он спросил у благообразного пожилого немца, где вокзал. Тот повел рукой и спросил, откуда он? Из России? И дальше потекла русская речь, но не с привычной здесь южнороссийской скороговоркой, с хамским фрикативным хэканьем, а с грассированием и пришепетыванием, то ли арбатским, то ли петербургским, а может ни с тем, ни с другим, а просто сказалось наложение легкого европейского акцента, давшего в сплаве с московским произношением эффект старинной интеллигентности.

— Откуда у вас такой русский?

— Я профессиональный переводчик.

В свете и тепле вагона, увозившего их из Потсдама в Берлин говорили о некрофилической теории Эриха Фромма и других фрейдистских попытках объяснить природу личности Гитлера. Некий Лангер считал, что фюрер в детстве наблюдал половой акт родителей и это способствовало развитию у него эдипова комплекса, оказавшего решающее воздействие на его характер.

Сидя друг против друга в пустом ночном вагоне, они воображали себе квартиру австрийского таможенного чиновника конца XIX века, ребенка, стоявшего босиком на холодном полу и подглядывавшего в дверную щель родительской спальни и те роковые последствия, которые произошли вследствие этого подглядывания — от восторженного неистовства толпы, запечатленного Лени Рифеншталь, до мировой войны и Холокоста.

Они иронизировали над вульгарным детерминизмом, заложенным в этой причинной связи событий, и эта ирония сблизала их. Последовал обмен визитками.

— Тарбовский, — медленно прочитал Иоганн Шуберт. — Я знаю вас.

— Откуда?

— От Гонсовского.

— Но Гонсовский умер десять лет назад.

И уже произнеся эти слова, Даня внутренне ахнул от очередной причуды судьбы, от мгновенно представившейся ему сцены, высветившейся в коридоре времени, промельком блеснувшего во всех подробностях воспоминания.

— Тебе будет тоскливо все время в сапогах и при шашке. Я же знаю, видел, был — тосты за фройндшафт, речи, приемы, музеи, — с обычной своей тягучей и ленивой насмешливостью говорил друг детства, в те семидесятые годы начинающий классик, провожая Даню в первую его зарубежную поездку в ГДР. — Дам ка я тебе телефон своего переводчика. Наш человек, он тебя сводит куда-нибудь, с ним можно говорить обо всем.

— Так уж и обо всем?

— Ну, во всяком случае, о многом.

Возможно ли в четырехмиллионном городе встретить человека, которого однажды видел тридцать лет назад? Сколько совпадений должно было произойти, чтобы в этой дождливой ночи Даня именно у Шуберта спросил дорогу к вокзалу.

Брезжилось — Восточный Берлин семидесятых, напоминавший благообразные Черемушки, холостяцкая однокомнатная квартира на верхотуре огромного панельного дома, крупное, хорошо вылепленное лицо, очертания которого угадывались в расплывшемся старческом лице его нынешнего спутника. Сборы куда-то: «Мы пойдем туда, где танцуют», — и все вертелся у зеркала, одевая рубашку, поворачиваясь и так и эдак, проверяя на ощупь гладкость выбритых щек, — статный высокий ариец.

«Мы пойдем туда, где танцуют», — многообещающая таинственность была в этой искусственной, словно переведенной на чужой язык фразе. Дане мнилась чужая жизнь, пестрая компания, женщины, чад пьянки. Пришли же в ресторан, где он днем обедал с группой. Вечером там играл оркестр и уныло крутились две немолодые пары.

— У нас другие нравы, — сказал Иоганн, видимо, ощутив Данино разочарование. — А в Доме литераторов у нас не пьют, а проводят собрания.

Сын непроницаемо выслушал данин рассказ вплоть до последней реплики: «Так и живет в той же квартире, всю жизнь один, без семьи, уж не гомик ли?» — и затем сказал: «Ну, почему же гомик? Ты же помнишь суку Гретхен, которая пыталась подбросить ему их ребенка?»

— Какую суку Гретхен, что ты несешь?

— Ну, как же, Гонсовский ведь тебе рассказывал, как встретил его в Берлине с мальшом и тот сказал: «Вот ведь Гретхен, сука, уехала отдыхать, а мне своего щенка подбросила».

— Как ты можешь это помнить? Тебе ж самому лет восемь было.

— Потому и помню. А как он говорил Гонсовскому: «Вот вы русские, широкий народ, деньги тратите без счета — кабаки, выпивки... А я, знаешь, сколько у меня этих марок, а ведь каждый раз как рассчитываюсь в ресторане, мучаюсь. Сам себя презираю, но ничего не могу поделать».

Он даже интонацию, нет, не Шуберта (Гонсовский, видно не мог воспроизвести пришепывающую мягкую речь Шуберта), а самого Гонсовского — иронически медлительную, хамоватую — воспроизвел.

— Послушай, как это может быть? — воскликнул Даня. — Ведь тридцать лет назад это было.

— Говорю ж тебе, помню.

А Даня ничего не помнил, никаких таких рассказов Гонсовского, который уже десять лет лежал под мраморной плитой в Кунцево и оттуда, из могилы подавал голос, создавая образ человека в рассказе, некогда услышанном ребенком и с фотографической точностью запечатленном в детской памяти. Этот голос и этот образ доходили из прошлого, завязывая очередной узел сюжета, уходящего своими истоками в давнюю-предавнюю данину поездку на Кавказ.

Империя была так огромна, вмещала в себя столько этносов,

что в ней легко мог затеряться целый народ. Однажды на самой ее окраине, на границе Азербайджана с Ираном Даня обнаружил доселе неизвестную ему национальность.

— Тальши.

— Латьши? — переспросила Зара.

— Да нет же, тальши. Они не тюрки в отличие от азербайджанцев. Ближе к персам, фарси. Свой язык, культура, религия, они как иранцы — шииты. Было такое тальшское ханство, куда с Дона, с Волги делали набеги казаки. «И за борт ее бросает...» Может, это как раз тальшская княжна была. Они красивые — тальшки. Глаза глубокие такие, прямо черные бездны...

— Ты уж со второй рюмки сразу о женских глазах, — с ревнивой иронией сказала Зара. — Не пей больше.

Он и не пил. Свое брал в командировках.

Шашлычная была в горах — сарайчик, прилепившийся на склоне. У входа с библейской простотой валялась окровавленная баранья шкура. Подавали дымящееся мясо, острый творог, сладкий перец. За спиной буфетчика висел портрет Сталина на большом фаянсовом блюде.

— Здесь все свежий, — сказал Чингиз. — Здесь бывают большие люди.

Он и сам был большим человеком по местным меркам — директор совхоза — один из отцов народа. Сухонький, важный, запахивающийся словно в халат в синий габардиновый плащ, он хриплым шопотом рассказывал как их, тальшей, сживают со света: лишили национальных школ, клубов, газеты, записывают в паспортах азербайджанцами.

— Ну, зачэм, зачэм? — страстно шептал Чингиз. — Ну, глупость же... Сами нас толкают к Ирану, к единоверцам нашим. И так молодежь слушает иранское радио, воспитывается на нем. Дали бы автономию, все было бы по-другому.

Отговорив, успокоившись, он медленно пережевывал мясо, косясь на соседний столик, где играли в нарды. Даня знал, что его спутник считается одним из лучших в городе игроков в нарды, и как ему, верно, хотелось в эту беззаботную компанию, к стуку костяшек, к азартному перебрасыванию фишек.

Когда унесли кости и стали готовить стол к чаю, Даня ополоснул пальцы и вышел на площадку перед входом в пашлычную. Она висела в пустоте, в режущем легкие чистом холодном воздухе. На горизонте виднелось море. От него склон отделяла полоса предгорий, густо заросших лесом долин и ущелий с каменистыми руслами высохших речек.

А позади шла своя воскресная жизнь. Подростки с красиво прорисованными глазами качались на ветвях огромного дуба. В пашлычной игроки почтительно расступались, пропуская к столу Чингиза, и народная баталия пошла с новой силой. Официант наливал в грушевидные стаканчики коричневый чай.

— К тебе ходок, — сказал Дане сосед по кабинету, показывая на окно. — Он звонил, тебя не было, я просил подождать.

За окном на февральском московском ветру ежился представительный восточный человек затянутый в темный импортный плащ. У его ног стоял огромный портфель с крохотной авоськой, привязанной к ручке.

Ходоки — это расплата всех, кто ездит из Москвы, из всяких ее властных или, во всяком случае, представляющихся там, на местах властными учреждений по просторам империи. Расплата за близость к власти; за то, что ты с ласковой снисходительностью и всеведением ходишь по заводам и колхозам в сопровождении начальников, расспрашивая о том, о сем, пытаясь влезть в душу расспрашиваемых, а потом, когда они остаются при своем галерном деле, ты уходишь с начальниками пировать, и с тобой они любезны, милы, доверительны, а с подчиненными — жестки, холодны, суровы; за то, что ты, чтобы ты там про себя не думал, — с этой сучьей властью, ее прихлебатель, конфидент. И вот она вырывает тебе на колени обиженных изобретателей, истеричных правдолюбцев, потерпевших крушение интриганов, отыскавших тебя по мимолетному следу, оставленному в командировке — визитке, адресу, записанному в гостинице; и ты должен возиться с их головоломным безнадежным делом.

— Откуда ходок-то?

— Говорит, из Арслана, от какого-то Чингиза. Самого Гассаном зовут.

Господи, да неужто же эта тальшская диссида достает его здесь? Ведь ходил же он по возвращении из Азербайджана в ЦК, к Цесарскому, он свел его с инструктором, ответственным за межнациональные отношения на Кавказе. И тот мордастый, хамоватый, сразу же перешедший на ты, втолковывал ему чиновничьей скороговоркой:

— Им автономию дай, это на три района... Лезгинам дай. А в Дагестане — три аула и уже свой язык, своя народность. Не напасешься автономий. Ты хоть представляешь себе, какие это деньги — национальные школы, клубы, газеты, свой Верховный совет, разные там декады культуры? Да и потом, что нам на Алиева давить по пустякам? В Баку считают: нет такого народа. Нет так нет.

Инструктор помолчал раздраженно, поиграл желваками.

— Знаем мы про их иранские настроения. Шииты сраные, фанатики, мать их... Имам сказал, значит все.

Выходило: с одной стороны денег жалко, а с другой — у Баку имелась своя державная политика, свои права, на которые Москва посягать не хотела, отдавая Алиеву тальшей на откуп. Но ведь не скажешь все это тому же Чингизу, разговор цеховский — доверительный. Зачем же еще посланцы — думал Даня, сбегаю по лестнице в вестибюль.

Однако, с первых слов выбарматываемых Гассаном ему на ухо, стало ясно, что тревога напрасна, здесь обыкновенная бытовуха. «Племянник. Ахмед. Хороший мальчик. Матрос. Драка. Его нарочно втянули. Ударил ножом. Так, пустяк. Тот человек претензий не имеет. А мальчику — суд, тюрьма. Направили в Москву на экспертизу, в институт Сербского. Три месяца ничего о нем не знаем. Чингиз-муаллим сказал: как приедешь, найди моего друга, устрой ему банкет...»

Притащил его в отдел. Усадил, выспросил имена и даты, в несколько звонков узнал и крупно выписал в блокнот телефоны, часы приема и адрес Бутырской тюрьмы, где в ожидании психэкспертизы должен был находиться «хороший мальчик», всучил ему блокнотный листок, выпроводил смущенно благодарящего, бормочущего про банкет, про Чингиза-муаллима.

Все! Сделано и забыто. Но на другой день вечером звонок домой. «Хорошего мальчика», оказывается, успели отправить в Баку.

— Значит, вы зря приехали?

— Почему зря. С вами вот познакомился.

Голос более спокойный, уверенный, похоже, что он оклемався за этот день в Москве, как-то устроился и достойно предлагает пойти посидеть в ресторане. Теперь, когда племянник отправлен из Москвы, это выглядело как нормальное проявление мужской дружбы.

Господи, как Даня ненавидел командировочные ресторанные застолья! Пережевывание местных сплетен с многозначительными намеками на прикосновенность к заботам больших людей, велеречивые тосты. Чингиз обязательно вставал, вытягивал руку с бокалом и говорил: «Дорогой друг!» Он восклицал это с такой торжественной значительностью, что казалось — вслед за этим последует нечто высокое исповедальное. Но сказать было нечего. И возглашалось снова уже с пьяной настойчивостью: «Дорогой друг! Вы приехали к нам...» — и далее обыкновенная льстивая по-восточному цветистая чушь.

И вот уже здесь, в Москве — ресторан. Сослаться на занятость? Отказаться? Оборвать? Значит, продемонстрировать дистанцию между ним, Даней, принадлежащим к высшей власти и этим мелким провинциальным чиновником. Согласиться? Значит, выпотрошить его, скорее всего, совсем не толстый кошелек, обрекая на показ традиционной кавказской широты.

— Приходите ко мне.

— Ой, правда? — с какой-то немужской экспансивностью воскликнул Гассан. — Когда?

— Да хоть сейчас.

И вот он стоит в передней со своим портфелищем, сияющий, смущенный. У Чингиза лицо сухое, твердое, хищное. У этого же расплывшееся, доброе и с каким-то ошалелым выражением. Приглаживает коричневые вихры. Костюм новый, «пасхальный», рубашка белая, галстук в павлиньих разводах. При параде. В Москву собрался. К большим людям.

Снял ботинки, в носках (Даня не успел дать тапочки) прово-

лок портфель в комнату. И на стол — бац — бутылку коньяка, армянского, три звезды. Этого, впрочем, следовало ожидать. Но портфель оставался открытым.

— Принесите, пожалуйста, что-нибудь большое.

— Что именно?

— Таз, кастрюлю.

Из распахнутых створок начали вываливаться пироги, пирожки, булки. Казалось, портфель тошнит этим желтым печеным тестом. В тазу образовалась гора — зыбкая, дышащая, отсвечивающая маслянистыми боками.

— Боже мой! Что это? — вскрикнула Зара.

Гость скромно потупился.

— Моя жена вам посылает.

И сделал широкий жест, как бы приглашая немедленно наброситься на эти пироги, давай, мол, ребята, гуляй по буфету.

— Но зачем же так много?

— Так надо.

За столом он неотрывно смотрит на Даню влажными черными глазами и говорит без умолку — где учился, где работал, с кем знается, сыплет какими-то восточными именами, видимо, рассчитывая на ответную данину реакцию: а-а, мол, да-да, знаю. Но Даня молчит, давая ему выговориться. Зато Зара перебивает изумленными вопросами. Зачем ему целых три диплома: двух техникумов и одной партшколы? Не глядя на нее, снисходя к бабьему неразумию, гость разъясняет: такая уж жизнь, всюду диплом нужен. Был замдиректора совхоза — сельхозтехникум кончил. Заочно, конечно. Был директором районного Дома культуры — техникум культпросветработы кончил, тоже заочно. Гассан перечисляет еще несколько должностей районного калибра. Выходит, что дипломов у него даже маловато.

— А сейчас я председатель районного общества спасения на водах.

Зара, прижав пальцы ко рту, порывисто встает, уходит отсмеяться. Даня, однако, понимает, что гость на пересидке, выпал из команды, соскочил с круга, как электрон с орбиты.

— У вас сейчас пауза? — туманно спрашивает он. Но Гассан схватывает с полуслова.

— Эх, если бы вы знали, какие подлецы бывают!

Про подлецов ясно, эту тему лучше не затрагивать: взятку вымогали, а он, честняга эдакий, не дал. Или кто-то родича своего на его место устраивал. Конфликты на уровне родоплеменных отношений. Но гость о другом: не собирается ли Даня в их город, не сможет ли он в таком случае придти к нему в дом?

— Коли буду, так приду, — вяло обещает Даня.

— Если бы вы знали, что это для меня значит, — страстно шепчет Гассан. — Вы пришли бы ко мне в дом, сели за стол, все знали бы, что вы мой друг, мне бы могли дать какую-нибудь должность. Они позвали бы меня и сказали: «Гассан-муаллим, вы такой опытный человек...»

Что за бред, думал Даня. Неужели такая простота нравов?

— А у вас большой дом? — вернувшись, спрашивает Зара.

— Так себе. Четыре комнаты. Давно строил. Сад есть.

— А детей сколько?

— Семеро.

— Семеро? — переспрашивают Даня с Зарой в один голос.

— Семеро, — с улыбкой повторяет Гассан.

— Жена, конечно, не работает.

— Конечно. Шьет немножко.

Не густо ему живется, думает Даня. Все-то кажется, что у них там на Кавказе денег куры не клюют.

Разговор, однако, начинает выдыхаться. Гость поглядывает на часы, прощается. Грустно и важно отклоняет предложение проводить — сам найдет такси. Забирает опустевший портфель (к ручке привязан пластиковый пакет, в котором проглядывает бритвенный прибор и помазок) и исчезает.

Сидя за неубранным столом в каком-то изнеможении, Даня увидел в глазах Зары слезы.

— Ты что?

— Какая тоска. Я представила себе эту бедную, замученную детьми женщину. Как она пекла пироги, совала их в портфель. Как они всей семьей обряжали его, собирали в дорогу. Он приехал завоевывать Москву с портфелем пирогов, бедный кавказский Растиньяк. Мне жалко его. Он неудачник. Ему и здесь

не повезло. Ты не тот человек, который ему нужен. Он слишком поздно это понял.

— Кто его знает, какой он был, когда преуспевал?

— Я этого не хочу знать. Я вижу, какой он сейчас — неумелый неудачник с семьей детьми. Надо было хоть что-нибудь послать его жене. Но что? Кроме книг у нас ни черта не найдешь.

— А вы пошлите ей Пастернака. То-то радости будет, — включился в разговор Сенька, входя в комнату в пирогом в руке.

— Молчи, — сказала, вытирая слезы, Зара. — С чем пироги-то?

— С разным. С сыром каким-то. Есть с медом. Еще с чем-то, не поймешь.

— Куда нам столько? Придется раздавать. Ты возьми к себе в институт.

Ушел Гассан-муаллим, скрылась его широкая сутулая спина в сумерках слабо освещенного подъезда, хлопнула дверь вниз и поглотила его московская ночь.

Остаться бы ему в том времени навсегда, занавешенному створками даниной памяти, в образе простодушного Растиньяка, неудачливого искателя столичных покровителей. Но вот высвечивается его образ годы спустя чудесной силой совпадений, прихотью Великого Ткача, что творит паутину судеб, встреч, событий.

Рассаживались по принципу «своя своих познаша». Левый ряд заняли русские немцы. Правый — русские евреи. На «камчатке» — турки, курды, азербайджанцы.

Германия, жесткая ксенофобическая Германия, растянув на послевоенные полвека свои извинения перед миром, открыла дверь беглым и гонимым. Напишем на нашем знамени слово «сострадание»!

В одном классе языковых курсов арбайтсамта оказывалась коренастая свиарка из Казахстана, неподвижно сидевшая, сложив на столе тяжелые руки, и московский инженер с мефистофильским профилем, истерзанный графоманскими страстями («Я приехал сюда писать прозу»), юный пастух из сибирского села и почтенная ученая дама из Петербурга.

Все вместе это зевало, кряхтело, засыпало, хохотало, взвизгивало. Менялись громкоголосые фрау, преподававшие языковую премудрость. Взвизгивала на вертикальных рельсах испиленная мелом доска. Класс погружался в историю то герра Флика, который застаёт жену целующимся с его деловым партнером, то герра Беккера, который торгует обувью, в полдень обедает, а вечером добродетельно сидит у телевизора. Класс зубрил немецкие глаголы, болтал на причудливой языковой смеси, пил вино на совместных застольях во время дней рождений, отмечаемых в той же классной комнате за сдвинутыми столами, бродил по аллеям соседнего парка, жевал, острил и грустил на его скамейках.

Даню занимал молодой перс, единственный перс в классе. По-немецки он говорил довольно сносно, так что, пожалуй, ему было и не место среди начинающих. Но знание свое не демонстрировал, да и вообще держался в тени, помалкивал, впрочем, молчание это казалось презрительно агрессивным.

Склонный к наблюдением и размышлением над обликом незнакомых людей, Даня усматривал в нем какую-то странную смесь разных культурных слоев. Вот он взгромоздился на стол на перемене, сидит, поджав ноги, прикрыв глаза, перебирает четки. Эдакий «турок на молитве» из фольклора полуденной жаркой Азии. Но в вороте рубашки — краешек тельника, в движениях мягкость, не восточно-гаремная, а скорее кошачье-блатная и взгляд пронзительный исподлобья.

Что-то неизъяснимо знакомое чудилось Дане в этой повадке. Он наблюдал за ним, пытаясь слепить из реакций, манеры поведения, отдельных реплик образ этого человека.

Обучение в классе велось с помощью разнообразных игр. Разыгрывалась сцена в ресторане: ты — официант, я — клиент. Или раздавались картинки, связанные обрывающимся сюжетом, конец его полагалось придумать самому. Затевались дискуссии на темы, которые преподавательнице представлялись занимательными для аудитории, скажем, выносить или не выносить тело Ленина из мавзолея, и когда молодой турок спрашивал, кто, собственно говоря, такой этот Ленин, класс взрывался хохотом. Но перс-то знал, кто такой Ленин. Даня видел,

как в ниточку сжимались его губы, каким жестким при упоминании этого имени становился взгляд.

В игре же с картинками его неодобрение вызывала придуманная кем-то сценка: собака сидит в кресле и читает газету. «Человек есть человек, а животное есть животное, — пробормотал он по-немецки. — Нельзя так фантазировать». Похоже, что он был человек строгих правил, четких представлений о жизни, где каждый знает свое место. То же проявлялось у него в разговоре об эмансипации женщин. «Не понимаю, как это женщина не хочет готовить. Это ее, а не мужское дело».

А с какой иронией следил он за взрывом гастрономических эмоций, последовавших за предложением преподавательницы составить сообща рецепт украинского борща. Русскоязычная часть класса просто изнемогала от переполнявших ее вкусовых ощущений. — «Говядина должна быть обязательно с косточкой». — «Про чеснок не забудьте. Про чеснок...» — «А паприка?» — «Сметана-то, шмант?».

Преподавательница, холеная молодая немка с аристократическим фон в фамилии, писавшая все это на доске, даже сладострастно зажмурилась при последнем выкрике: «Йа-а, шмант!»

Восточная часть аудитории посматривала на этот ностальгический пир с вежливой улыбкой. Но в иронии перса была некая брезгливость, какая может быть у человека высоких помыслов при виде низменных плотских страстей. В какой-то момент Дане показалось, что он понимает по-русски и даже чувствует оттенки языка. Перегнувшись к нему за спиной, разделявшего их соседа-турка, он внятно и медленно сказал:

— Ты ж по-русски понимаешь?

Перс выдержал паузу и ответил без малейшего акцента:

— Ну и что?

— Откуда?

— Жил.

— В России?

— В Азербайджане.

— В Баку?

— Почему в Баку? В Арслане.

Все стало на свое место, как в детской мозаике, что складыва-

ется из отдельных фрагментов. Краешек тельняшки, едва уловимая приклатненность в повадке... Все сложилось во внезапном озарении.

— Ты Ахмед, матрос, племянник Гассана-муаллима?

Он окаменел. Несколько секунд сидел, прикрыв глаза, ничем не выдавая изумления, видно, что-то сопоставляя, припоминая. Потом, справившись с собой, спокойно сказал, пожалуй, даже утвердительно, а не вопрошающе.

— Ты тот человек, к которому он ездил в Москву? Зря. Меня отправили в Баку, а там выкупили.

— Я знаю.

На том разговор закончился. И больше они ни разу ни о чем не говорили, как бы не замечая друг друга. А вскоре Ахмед исчез, не доучившись до конца. Считалось, что он нашел работу и курсы ему теперь ни к чему. Точно также несколько раньше исчезли два иракских курда — добродушный крестьянин из Сулеймании и мрачноватый официант из Киркука.

Все это напоминало об одном из ликов Берлина — пересыльного пункта и европейского резервуара всяких национальных движений Востока и Балкан. Этот мир выходил порой из-под пестрой и гладкой поверхности германской жизни в виде толп курдов или сербов, скандирующих лозунги и размахивающих полотнищами с надписями, или штурмовых набегов палестинцев на посольства государств, представлявшихся им враждебными. Возможно, что и Ахмед был оттуда же. Сонный тальпшский Арслан с красными пятнами гранатов в пыльной зелени садов, с джигитами в кепках-аэродромах, став частью исламского Востока вытолкнул его в фундаменталистские страсти, в шиитский мир, о котором некогда хрипло шептал Дане на ухо Чингиз.

Вторая встреча с Иоганном Шубертом, как и первая, была случайной. Вообще-то Даня позвонил переводчику вскоре после кинопросмотра «Триумфа воли». «О-о, как я рад, — услышалось в телефонной трубке. — Но извините меня Бога ради, я варю свой пудинг, он может подгореть. Вы дома?» Перезвонил через несколько минут. Повидаться же вскоре не получалось, да так

и заигралось... Осталось воспоминание о подгорающем пудинге, как он там, верно, стоит у плиты, обвязав живот полотенцем, болтает ложкой в кастрюле. Чистенький старый холостяк, все сам себе делает. Одинокий старик. Впрочем, как и Даня. Два одиноких старика. И вот они встретились в самом, казалось бы, неподходящем месте — на балу любви.

Каждый год язычески беснующаяся толпа молодежи в летнюю жару изливается в Берлин, заполняя улицы центра города оглушительной музыкой, криками, экстатическими плясками. Не было ничего более далекого от тогдашнего Данина состояния, чем эта вакханалия, и тем не менее он каждый год с угрюмой миной ввинчивался в толпу и шел квартал за кварталом в грохоте рока, в дуденье и визге, в плотной массе потных полубнаженных молодых тел, едва прикрытых пестрым тряпьем.

В изнеможении вырвавшись из этого клубка запахов и ритмов, он стоял, прислонившись к теплой стене дома. И вдруг увидел Шуберта. Он шел, держа на плечах девчонку в одних шортиках даже без лифчика, так что молодые аккуратные груди тряслись в такт движению. Она размахивала воздушным шаром и что-то кричала, а он с побледневшим от жары и усталости потным, но счастливым лицом, нес ее, поглаживая крупными старческими ладонями ляжки, плотно охватившие его шею. Что она кричала? Какое-то одно слово. Какое? Даня вслушался, пытаясь вырвать ее голос из общего шума и, кажется, разобрал: «Фатти, фатти!» — папочка.

Увидев Даню, Шуберт помахал рукой и похлопал свою всадницу по попке, давая знать, что пора слезать. Та мгновенно, опершись о его голову руками, ловким гимнастическим движением спрыгнула на землю и пошла, не оглядываясь.

— Тяжело? — спросил Даня.

— Но приятно, — в такт ответил Шуберт.

На боковой пустынной улочке, куда гул бала любви доносился лишь отдаленно, нашли прохладную пивную, устроились на воздухе за столиком в зыбкой тени тента. Посасывая пиво, вглядывались друг в друга, улыбаясь, как бы разминая начало разговора.

— Она вас называла — папочка?

— Наш Гёте сказал: «Мой друг, теория суха, а древо жизни вечно зеленеет».

«Наш Гёте» — как это по-немецки, подумал Даня. Но похоже, что цветение древа жизни для него реализуется лишь в определенных формах. Ничуть не понижая голоса, чего, казалось бы, требовала интимность сообщаемых в дальнейшем фактов, Иоганн рассказал, что время от времени он посещает публичный дом. Один и тот же, очень хороший, с чистыми, воспитанными девушками. О, нет, это, конечно, не роскошное заведение с сауной и кружевным постельным бельем, где с вас сдерут пятьсот марок за час, а вполне пристойное опрятное учреждение среднего класса, где час любви вам обойдет в 150 марок. «Заразиться? Что вы, Даниил, что вы... Ведь это же профессионалки. Мы можем пойти вместе. Нет, нет, я не настаиваю, спутник для этого дела мне не нужен, я просто хотел оказать вам услугу, ведь вы в чужой стране и к тому же одиноки. Как хотите, разумеется, как хотите».

Он говорил об этом деловито и просто, расхваливая свое публичное заведение, как одна хозяйка посвящает другую в закупки продуктов: «Тут недалеко есть отличный магазин, где вырезку можно купить по пятнадцать марок. И, знаете, отличное мясо».

Даня спросил, как часто он ходит в публичный дом? Оказалось, что раз в месяц, но если много переводов, то два раза в месяц.

— Значит периодичность ваших посещений зависит не от потребности, а от заработка?

— В какой-то мере.

— А как сейчас с работой?

— Не лучшим образом. Но мне обещали заказ на перевод «Сатанинских стихов» Салмана Рушди. Это и выгодно, и интересно.

— А вы не боитесь?

— Вы имеете в виду фетву Хомейни?

— Да, тем более, что итальянский и японский переводчики, насколько я знаю, убиты. Как, впрочем, и брюссельский мунфтий, издавший контрфетву.

— Знаете, я фаталист.

Разговор перескакивал от темы к теме, меняя русло, цепля-

ясь за ассоциации, прорываясь сквозь кору отчуждения к близости мироощущения, так что Даня, пугаясь чего-то, отходил от этой черты, используя привычное оружие иронии.

— Иоганн, вы принадлежите к какой-нибудь конфессии? Католической, лютеранской?

— Да нет, я скорее эзотерик, гностик.

— Какое гностическое учение вы исповедуете? Манихейство, неоплатонизм?

— О-о, да вам не чужды занятия философией. Ничего-то я не исповедую. Так, читаю, думаю.

— Все равно уйдем ин дрерт? Знаете, есть такое идишистское выражение — ин дрерт — в землю, в прах.

И в ответ Даня услышал, холодея, не веря собственным ушам то, что читал, над чем думал, буквально, вчера.

— Прах, прах! Как ты упрям, как нагл! Ведь все желанное очам смешивается с тобой.

— Господи Боже мой, Иоганн, вы изучали каббалу, читали Зогар?

— Почему бы и нет?

Среди книг и философских заметок, оставшихся от Зары, были и черновики к так и ненаписанному повествованию о Моше де Леоне. Она пыталась увидеть его в реалиях тринадцатого века. Его длинный кафтан с широкими рукавами, под которым носили талес, надетый на перепоясанную широким ремнем тунику.

Туника это тоже, что хитон, и созвучие здесь несомненно, нечто вроде длинной рубашки, а у Томаса Манна Иосиф носит, подаренный ему Иаковом кетонет (тоже созвучие) Рахили, вызвавший столь жгучую зависть братьев, что, в конце концов, весь сыр-бор разгорелся.

Моше писал свою Книгу на веленовом пергаменте гусиным пером, чернилами, приготовленными по специальному, предусмотренному в Талмуде рецепту. Все это Зара вычитывала в брокгаузовской Еврейской энциклопедии. Только вот портрета ее героя там не было. Облик его не сохранился. И Даня помнил, как она обсуждала с ним, как мог выглядеть Моше? Худое, узкое, чернобородое лицо, истерзанное страстями? Ну,

почему же, худое, да еще истерзанное страстями, отвечал Даня. А, может, он был вялый, толстолицый, со скучным, ничего не выражающим взглядом? И огонь, который горел в нем и излился на страницы «Зогара», так что столетия спустя хасидский цадик благодарил Бога, за то, что он создал его после сотворения Книги, дав ему счастье читать ее, никак не выражался в его облике.

«Хасиды называли Бога — Татеню — папочка, — писала Зара. — Нет ничего более далекого от живого патриархального Бога Библии, которого можно назвать Татеню, чем каббалистическое обозначение чистой Божественной сущности — Эйн-Соф — Бесконечное. Мир возникает как кризис в Эйн-Соф, переходящем от покоя к творению. Десять сфирот — это десять метафорических имен Бога — Венец, Мудрость, Разум, Любовь... — десять стадий его сущности, проявлений его сокровитной жизни, десять стадий Божественного саморазвертывания. Им предшествует появление предвечной точки — мистического центра, вокруг которого кристаллизуется теогонический процесс.

Вчера мне приснился ребенок. Крохотный, полуголый, в широких штанишках на лямках. Он приплясывал в кругу каких-то людей и веселился. Это и была предвечная точка. Сегодня я вспомнила, откуда этот ребенок? Он был в кадрах гетто, в привезенных из Варшавы снимках. Малыш в скособоченной, прикрывающей один глаз шапке — топчется, пляшет на мостовой, смеется.

В истории обнаружения «Зогара» — мистика бродячих сюжетов. В наше время этот сюжет, который можно обозначить как «жемчужина на мусорной свалке», повторился в отыскании кумранских рукописей: Палестина, пещера, случайно забредший туда араб-пастух, торговцы, заворачивающие снедь в священные тексты.

Тот же случай «жемчужины на мусорной свалке» и с «Зогаром». По преданию несколько листов рукописи попадают в Палестине в руки некоего мудреца, пришедшего с Запада. Мне

довольно легко удалось установить, кто имелся в виду. Это совершенно конкретное лицо — знаменитый испанский раввин Нахманид, которого спровоцировали на диспут по поводу того, является ли Христос Мессией, а потом по требованию Папы выслали в Палестину.

Ну, а Моше де Леон в предании фигурирует как переписчик Книги. Потом в Испанию приехал из Палестины ученик Нахманида Ицхак из Акко и удивился тому, что ни слова не слышал о такой замечательной книге от своего учителя. Ведь любой образованный еврей в те времена понимал, что перед ним настоящая энциклопедия каббалы. Но в средние века такое случалось: рукопись сознательно приписывалась автором какому-либо авторитету древности, как бы припудривалась пылью веков. Здесь расчет на читательский консерватизм, на преклонение перед традицией. Иначе не прочтут.

Моше де Леон объяснял жене это так: если люди узнают, что я автор, они не истратят на книгу ни гроша. Но, услышав, что я снимаю копии с рукописи, написанной Шимоном бар Йоханом по наитию святого духа, они хорошо платят за нее.

Когда Ицхак из Акко пришел к Моше де Леону в Авила, где тот жил, он уже умер. И Ицхак записал в своем дневнике, дошедшем до нас, слова вдовы. Впрочем, Шолем, проанализировав и другие книги Моше, довольно убедительно доказал, что авторство «Зогара» принадлежит именно ему.

Все-таки это поразительно, как каббалист средней руки да и к тому же одержимый прагматической целью, смог создать такую книгу. По влиянию на умы еврейства «Зогар» сравнивают с Библией и Талмудом. Впрочем, Талмуд апеллирует к рассудку: «Приди, послушай», а «Зогар» — к духовной интуиции: «Приди, взгляни». Здесь непосредственное общение с Богом, мгновенное преодоление пропасти, отделяющей его от человека.

Сколько иронии, язвительности, недоброжелательства вызывал Моше де Леон у еврейских историков. «Как наш бессовестный изготовитель книг любит морализовать, — пишет Штейншнейдер. Грек называл его ленивым и нищим шарлатаном, открыв-

шим для себя неиссякаемый источник дохода за счет входившей в моду каббалы. Это терминология газетного фельетона девятнадцатого века.

Как они не ощущали пленительную поэзию «Зогара», возвышенный строй души его автора? При их-то знании иврита и арамейского, при глубокой еврейской образованности и впитанном с детства духе иудаизма? Все ведь вышли из патриархальных семей, провели юность за Талмудом, это уж потом стали профессорами в немецких университетах. Впрочем, Грец вообще к каббале и к хасидизму относился отрицательно, полагая, что они дурно влияют на народ. Слово пастырь, школьный учитель, знающий что хорошо и что плохо для его учеников и оберегающий от развращающего влияния их неокрепшие души, он отрицал мистицизм. Гегельянцы и неопиты европеизма, просветители и рационалисты, они стояли на страже религиозного Закона своих предков в его классическом понимании. И за этим противостоянием угадывался извечный, протянувшийся на тысячелетия конфликт между верой и философией, Платоном и Аристотелем, Кьеркегором и Гегелем...»

В ту вторую их встречу с Иоганном они долго еще сидели в тихой пивной, отдаваясь сумбурному и вместе с тем в чем-то очень важному для обоих разговору.

— Никогда не мог понять атеистов, — говорил Шуберт. — Мне всегда казалось, что в мире присутствует некая тайна. Соприкосновение с ней это и есть счастье. Да ведь и в вас, как мне кажется, живет тоска по трансцендентальному, по высшим формам бытия — Единому, Благому.

— Это вы о вере? Да ведь я не платоник.

— А это свойственно не только платоникам. Собственно, тоска по метафизическому познанию и родила монотеизм, так что первыми ее ощутили ваши далекие предки.

— А как это уживается с плотским — проститутки, парад любви?

— Вы, кажется, хотите меня подразнить? Плотское прекрасно. И парад любви прекрасен, как древняя восточная мистерия.

— Язычество, мифология?

— А что такое каббала, о которой мы толкуем, как не возврат от строгого монотеизма к первооснове бытия, к мифу и одновременно к теплой плотской патриархальной вере, как у хасидов, так много взявших у каббалы. Кажется, ваш Розанов сказал: «Мне свечечка дороже, чем Господь Бог. Свечечка она теплая...» Да и в «Зогаре» божий человек Моисей состоял в мистическом, правда, браке с Шхиной — Божественным присутствием в мире. И сама Шхина описывается как дочь княгиня, женский принцип в мире сфирот. Мне отвратителен августиновский аскетизм, его презрение к телесному. Уж иудаизму он совсем не свойственен. А Моше де Леон? Вот уж в ком возвышенное и земное уживалось... Разве не стремление заработать заставляло его выдавать написанный им «Зогар» за творение Шимона бар Йохая?

Разговор принимал вид традиционного сюжета с двойником-дьяволом. Он все читал и все знал, о чем думал Даня, схватывая на лету каждую Данину реплику, не обижаясь на подкалывания, понимая мысль до доньшка, развивал ее, парировал, гнул свое, так что и противопоставить ему было нечего.

Теперь они часто встречались, часами гуляли по городу, философствовали, спорили, подчас иронизируя над собственным многоумием.

Во время одной из таких прогулок Дане показалось, что они встретили Ахмеда, быстро проскользнувшего мимо и не ответившего на Данино приветствие.

— Кто это? — спросил Иоганн. — Вы знаете этого человека.

— Похоже, что это мой бывший соученик по языковым курсам.

— Странно, — задумчиво сказал Шуберт. — В последнее время он несколько раз попадался мне на улице.

Больше на эту тему они не говорили, но что-то засело в Дане, каким-то смутным подозрением, неясной тревогой...

В последнюю встречу с Шубертом они почти всю теплую летнюю ночь просидели в уличном кафе среди бомжей и всяких восточных людей — арабов, турок, негров, среди медленно прохаживающихся между столиков проституток.

Иоганн рассказывал о работе над переводом «Сатанинских

стихов». Собственно, кощунственной можно было бы считать лишь одну главу, действующим лицом которой был Махунд из Джильи. За этими именами угадывались Магомет и Мекка. В сложном не совсем понятном для немусульманина сюжете этой главы пророк пишет подсказанные ему шайтаном стихи. Весь остальной роман не нес в себе ничего оскорбительного для правоверных и был, как считал Иоганн, посвящен психологии эмигрантов. Впрочем, имелась еще одна главка, где Хомейни мог найти свой портрет и это-то, наверное, и привело его в ярость.

Текст Фетвы гласил: «Я хочу сообщить неустранимым мусульманам, что автор книги, называемой «Сатанинские стихи», написанной, отпечатанной и выпущенной в свет в качестве вызова исламу, пророку и Корану, равно как и те издатели, которые были осведомлены о ее содержании. приговорены в смерти. Я призываю всех ревностных мусульман казнить их быстро, где бы они их не обнаружили...»

Иоганн читал этот текст, улыбаясь, отмечая интонацией особенности стиля, его выпренность и энергию. Но Дане было не смешно. Они расстались под утро.

Шуберт исчез, не звонил и не отвечал на призывы Дани откликнуться, передаваемые на автоответчик. Пришлось отправиться к нему домой. На двери в подъезд, на доске звонков его фамилии почему-то не оказалось, а ведь она была здесь, вторая слева. Даня хорошо помнил. Теперь табличная рамка зияла пустотой. Томимый тревогой он нажал на соседний звонок. В ответ на женский голос, раздавшийся из домофона, объяснил, что он друг Иоганна Шуберта и хотел бы узнать что-нибудь о нем.

«Коммен зи херайн» — «Войдите», — прозвучало в ответ. На втором этаже у открытой двери стояла молодая женщина.

«Эр ист гешторбен» — «Он умер», — сказала она.

— Отчего?

— Пойдемте.

Они вышли в парк, прошли по аллее к детской площадке, огражденной невысоким забором.

— Вот здесь его нашли утром. Он любил гулять ранними утрами. Он лежал на песке, лицом вниз. Его ударили ножом в спину. Насколько я знаю, убийцу не нашли.

Она прощально кивнула и пошла обратно. А Даня поплелся в ближайшую пивную, где они сиживали с Иоганном. Как-то в свой день рождения Даня заказал шампанское. Потягивая холодное вино, Иоганн вспомнил вычитанное в каких-то русских мемуарах: последним желанием Чехова, умиравшего в Баденвейлере, было выпить шампанского, пригубив бокал, он сказал свои последние слова по-немецки: «Их штербе» — «Я умираю». Даня в ответ рассказал, что эту историю обыгрывали молодые русские писатели в двадцатые годы. Он тоже вычитал в каких-то мемуарах, как Катаев или Маяковский заказывали шампанское марки «Их штербе».

Теперь Даня сидел и пил шампанское марки «Их штербе» за упокой души Иоганна Шуберта.

Ночью ему приснилось: Шуберт пришел к нему из Единого, скинул девку с плеч, и они долго сидели втроем и пили шампанское. Девка обращалась к Иоганну «Фатти», а он к Богу — «Татеню».